Генри Лайон ОЛДИ

Одиссей, сын Лаэрта

Человек Космоса

Древняя Греция

Генри Олди

Одиссей, сын Лаэрта. Человек Космоса

«Автор»
2000

Олди Г. Л.

Одиссей, сын Лаэрта. Человек Космоса / Г. Л. Олди — «Автор», 2000 — (Древняя Греция)

Я, Одиссей, сын Лаэрта-Садовника и Антиклеи, лучшей из матерей. Одиссей, внук Автолика Гермесида, по сей день щедро осыпанного хвалой и хулой, – и Аркесия-островитянина, забытого едва ли не сразу после его смерти. Правнук молнии и кадуцея. Сокрушитель крепкостенной Трои; убийца дерзких женихов. Муж, преисполненный козней различных и мудрых советов. Скиталец Одиссей. Герой Одиссей. Хитрец Одиссей. Я! я… Вон их сколько, этих «я». И все хотят вернуться. Возвратившись для других, теперь они хотят вернуться по-настоящему: для себя. Иначе возвращению суждено обернуться самой долгой и беспощадной из всех разлук.

© Олди Г. Л., 2000
© Автор, 2000

Содержание

Итака, 8
Песнь первая 13
Строфа-I 13
Троада 19
Антистрофа-I 22
Строфа-II 29
Микены, дворец 33
Антистрофа-II 37
Авлида, микенский лагерь 40
Авлида, лагерь мирмидонцев 45
Эпод 46
Песнь вторая 49
Строфа-I 49
Троада 52
Антистрофа-I 58
Строфа-II 66
Троада 70
Конец ознакомительного фрагмента. 71

Генри Лайон Олди
Одиссей, сын Лаэрта. Человек Космоса

…Если сопутник мой он, из огня мы горящего оба
К вам возвратимся…
(Илиада. X, 246; Диомед об Одиссее).

Когда я вернусь, я пойду в тот единственный дом…
А. Галич

Не сравнивайте былое с грядущим, вход с выходом, смертного с вечным и рождение с тризной – иначе быть вам тогда подобным Фемиде Неподкупной, дочери Урановой, что добровольно отказалась от зрения телесного, получив взамен беспристрастие судьбы, ибо суждено зрячим судьям ослепление красотой и уродством, мольбой и гневом, отвагой и трусостью; слепым же – никогда, и в том отличие судьи от судьбы.

Не сравнивайте былое с былым, вход со входом, смертного со смертным и рождение с рождением – иначе быть вам тогда подобным Линкею Афариду, герою-прозрителю, чей взор легко проникал сквозь землю и камень, дерево и кость, воду и металл; лишь собственная участь была темна для остроглазого Линкея, как темен день завтрашний для дня нынешнего, и гибель усмехалась, стоя рядом.

Не сравнивайте былое со входом, смертного с тризной, грядущее с вечным и выход с рождением – иначе быть вам тогда подобным Аргусу Золотые Ресницы, звездному титану, чья неисчислимость взглядов находила рыбью чешуйку в водах Океана и пушинку в просторах эфира, но уже таится под фригийским колпачком серп из адаманта, вот-вот блеснет исподтишка: украшать отныне мириадам ваших глаз – суетную прелесть хвостов павлиньих.

Не сравнивайте былое с рождением, грядущее с тризной, не сравнивайте входы, открытые смертным, с выходами для вечных – иначе быть вам тогда подобным вещунье Кассандре, видевшей приближенье бед, слышавшей шелест их горестных крыльев; но слепцами становились люди рядом с Кассандрой, и тщетно было взывать к слепцам.

Не сравнивайте ничего с ничем – и быть вам тогда подобным самому себе, ибо вас тоже ни с чем не сравнят.

А иначе были вы – все равно что не были…

Итака,
Западный склон горы этос;
дворцовая терраса
(Кифаредический ном[1])

Я войду в дома просторные,
Сердце встречами обрадую
И забуду годы черные,
Проведенные с Палладою.

Н. Гумилев, «Возвращение Одиссея»

Я вернусь.

Слышите?..

Они смеются в ответ. Все. Деревья за перилами – каждым листом, каждой каплей ночной росы на этом листе. Птицы на ветвях – каждым озябшим перышком. Небо над птицами – наимельчайшей искоркой во тьме. Смеются. Небо, звезды, птицы, деревья. Море бьется о скалы – хохочет. Скалы безмолвно стынут над морем – ухмыляются. Я не осуждаю их. Есть ли у меня право на осуждение, если я и сам-то едва сдерживаю смех: страшный, холодный, как ползущая с алтаря змея?

Улыбка сушит губы.

Я вернусь.

Я, Одиссей, сын Лаэрта-Садовника и Антиклеи, лучшей из матерей. Одиссей, внук Автолика Гермесида, по сей день щедро осыпанного хвалой и хулой, – и Аркесия-островитянина, забытого едва ли не сразу после его смерти. Правнук молнии и кадуцея[2]. Сокрушитель крепкостенной Трои; убийца дерзких женихов. Муж, преисполненный козней различных и мудрых советов. Скиталец Одиссей. Герой Одиссей. Хитрец Одиссей. Я! Я…

Вон их сколько, этих «я». И все хотят вернуться. Возвратившись для других, ощутив под ногами каменистую твердь Итаки, теперь они хотят вернуться по-настоящему: для себя. Иначе возвращению суждено обернуться самой долгой и беспощадной из всех разлук. Небо! звезды! птицы и деревья… – смейтесь над нами! Глумитесь! Но ответьте: может ли случиться иначе?!

Нет.

Не может.

Над западными утесами болтается неприкаянная звезда. Все прочие звезды оставили ее, бросили на произвол судьбы во тьме полуночи, и зеленый глаз отчаянно подмигивает мне: эй! тля-однодневка! видишь ли?! Вижу. Подмигиваю в ответ. Ты постарела, звезда. Истрепалась. Бахрома лучей вытерлась, будто кисти ветхого пояса, обреченного истлевать в недрах сундука. Блеск потускнел. Эй, тля-однодневка! – Да-да, это я тебе, моя звезда… И нечего моргать. Ты же видишь: я молод! прекрасен! силен! Конечно, ты видишь. Просто не в силах понять: это сегодня превратилось во вчера, или просто тьма морочит твой колючий взгляд?

Не тьма. Я морочу. Я вернулся, звезда.

Я вернусь.

---

[1] **Кифаредический ном** – повествование, сопровождаемое игрой на кифаре.

[2] **Кадуцей** – атрибут Гермия-Психопомпа: жезл, увитый двумя змеями.

Так не бывает, моргаешь ты. Бывает. Если ты там, а я здесь – значит, бывает. Глупо расплескивать мрак удивлением. Еще глупее, чем висеть без смысла над утесами.

Со стороны моря – тишина. Лишь горестный вздох прибоя: шшшли-пришшшли… Спрашиваю: вышли? Вышшшли, раболепно соглашается прибой. Врет, ясное дело. Кличи смолкли, луженые глотки навеки онемели, хлебнув из Леты. Тысяча врагов убита давным-давно. Тысячи врагов; десятки тысяч. Может быть, даже сотни. Некому горланить: «Я! убью!..», ибо тысяча друзей убита тоже. Одинокий колос посреди сжатой нивы, я качаюсь у перил, опьяненный кислым хмелем возвращения.

Хочешь, я сорву тебя, звезда? Вот сейчас подымусь на небо, шлепая босыми пятками, и сорву? Тысячу звезд; десятки тысяч. Может быть, даже сотни. Боишься? Правильно делаешь.

Ладно, свети пока.

Мне двадцать с небольшим, и я скучный человек. Повторяю, как заклинание: я! скучный! человек!.. Слова теряют смысл, рассыпая его вдоль дороги хлебными крошками, и недоуменно переглядываются. Что значит «Я»?! Что значит «Скучный»?!

Что значит: «Человек»?!

– …вы неправильно начинали. Дело не в силе. Дело не в мастерстве. Дело совсем в другом; в малом. Просто надо очень любить этот лук…

Роговой наконечник скользнул в ушко тетивы сам собой.

– …очень любить эту стрелу…

Тетива, скрипя, поползла назад, к плечу.

– …надо очень любить свою родину, этот забытый богами остров на самой окраине…

Медное жало вопросительно уставилось на красавчика-Антиноя: ты понял? не понял? жаль…

– …надо очень, очень любить свою жену… своего сына…

Мне понравилось убивать. К чему лгать самому себе? – Понравилось. Я плохо помню, как это происходило; вернее, я вовсе ничего не помню. Но главное осталось: удовольствие. На войне убивают иначе. По-человечески. В спину, исподтишка; как получится. А вчера я убивал, как бог. У себя дома. Смеясь. «Радуйся!» – приветствовали родные стены, мерцая копотью; «Радуйся!» – приветствовала чужая смерть. Я радовался. Дом и бойня слились воедино, перепутались, словно два локона на одной подушке: рыжий и… рыжий. Мой спутник! друг детства! мой буян Эврилох, мечтавший о заветной тысяче и пошедший на корм лупоглазым рыбам – ты бы оценил. Жаль, не дожил. И нечего пялиться из дальнего угла, обиженно дергая щекой.

Вокруг меня – царство мертвых.

Я в Аиде.

Тени смутной толпой бродят по террасе. Ждут. Вон тщеславный забияка Агамемнон, надгробный памятник державе Пелопидов от эфиопов до гипербореев. Голый, только что из ванной; шея рассечена секирой до ключицы. Вон малыш Лигерон: пузырится черной, ядовитой кровью. Как и Парис-троянец: в смерти Не-Вскормленный-Грудью и Петух Мужей сделались похожи больше, чем близнецы. Вон Аякс-Большой: меч смешно торчит из подмышки. Мама. Отвернись, мама! Пожалуйста… Ладно, я отвернусь вместо тебя. Измочаленный Паламед лежит грудой падали; чудом сохранилась кисть правой руки. Блеск перстней режет глаза. Рядом тихо плачет Эней Анхизид. Он всегда плачет: в бою, на пиру, при смерти. Сколько помню, всегда.

Мы звали его – Дакриостат.

Плакса.

Мне больно вспоминать. Их несуразно много вокруг – теней. Ждущих. Жаждущих. Грядущим аэдам, этим ангелам-пройдохам, придется тяжко: слушатели не запомнят даже поло-

вины имен. Слушатели будут браниться. Вместо ломтя свинины швырнут черствую корку. Запутаются в нити чужой жизни, в нитях, в клубке, в паутине, сетях, тенетах…

Меня это беспокоит?

Ни капельки.

Черная овца моей памяти блеет в испуге, предчувствуя ласку бронзы. Был корабль, стала – овца. Было море, острова, ветер и небо – теперь овца. Жертва. Скоро отворятся жилы, и воспоминания густой струей брызнут наружу. Жизнь за память. Я буду поить вас, друзья мои, враги мои, я буду гнать одних и привечать других, по своему выбору поднося чашу со странным, чудовищным, умопомрачительным напитком: кровью памяти Одиссея. Хитреца Одиссея. Героя Одиссея. Ах да, я уже говорил…

Чтобы вернуться, я должен был уйти.

Теперь, чтобы вернуться, мне надо вернуться.

– Боги, за что караете?

Раньше так взывали чуть слышно, подразумевая меня. Скоро будут взывать громко, опять-таки подразумевая меня. Раньше – это значит давно, когда мир был большим, а я маленьким. Мир, собственно, и тогда был мал. Итака – вот и весь тебе мир, окруженный кипящим пределом моря. Но для рыжего сорванца ничего большего не представлялось. Скоро – это значит близко, на пороге, когда мир станет маленьким, а я большим.

Сейчас – это значит сейчас. Между «раньше» и «скоро».

Между движущимися скалами Симплегадами.

Вот-вот сомкнутся.

– Дядя Одиссей, мне надоело играть, – говорил малыш Лигерон, прежде чем отречься от гнева и надеть новый доспех. – Я устал, дядя Одиссей. Я боюсь, что выиграю.

– Не бойся, – отвечал я.

– Дядя Одиссей, мне надоело играть, – он повторяет это вновь и вновь, тенью отступая в седую мглу, едва я подымаю на него взгляд. – Здесь скучно. Это плохая игра. Можно, я поиграю во что-нибудь другое? Например, буду пахарем? Или рыбаком?

– Поиграй в царя мертвецов, – отвечаю я. Зная, что это жестоко, но не в силах поступить иначе.

– Ладно. Только недолго, хорошо?

– Хорошо.

Навсегда – это ведь недолго, правда?

Вчера они клялись, что воздвигнут храм Одиссея Возвращающегося. Я испугался. Я не знал, что делать. Я и сейчас не знаю.

Пока еще не знаю.

Я вижу его, этот храм. Пустынный, каменистый распадок, и среди щебня – алтарь, с которого ползут змеи. Одинокий алтарь; многие змеи. Свиваются в клубки, остро пахнущие мускусом, визгливо шипят, переплетают гибкие тела. Трепещут раздвоенными язычками. И после каждого моления змей становится больше. Хватит на сотни жезлов-кадуцеев. Какой бы храм ни воздвигли, на самом деле он будет таким. Папа, ты говорил, что гранатовую яблоньку из земель хабирру надо укреплять таинственным змием…

Не мной ли?

– У тебя хорошая жена, – ворчал носатый зазнайка Агамемнон, недовольный ласками очередной пленницы. – Моя стерва, дай ей волю… А у тебя – хорошая. Ты всегда умел устраиваться.

– Поэтому я здесь, – соглашался я. – Моя жена там, а я здесь. Устроился.

Агамемнон раздраженно глядел на меня, ища подвох.

– Тебя ждут. – Помню, голос его вдруг перестал быть брюзгливым. И лицо изменилось. Резче обозначились мешки под глазами, даже знаменитый нос перестал торчать стенобитным тараном. – Тебе есть куда возвращаться. Хитрюга, ты и здесь устроился: тебя ждут. А я уже и не знаю, зачем пришел под Трою.

– За победой, – напоминал я.

– Победа… – Агамемнон повторил это слово, словно забыв, что оно означает. – Моя стерва… а у тебя – иначе.

Я до сих пор плохо понимаю, что он хотел сказать.

Иногда кажется: мы все погибли под Троей. Все. Победители, кто на обратном пути утонул близ Эвбеи, обманувшись Каферейскими лже-огнями, или пошел на дно под угрюмым Теносом. Братья по оружию, в запале позабывшие, что войне конец, – и павшие от братской руки. Смертные, неся смерть во все пределы, куда бы ни двинулись.

И Глубокоуважаемые, чья западня оказалась столь вместительна, что в ней хватило места и для добычи, и для ловца.

Год за годом осколки поколения обреченных бросаются к оракулам. С одним-единственным вопросом: где безопасно жить? Где поселиться, чтобы не испытывать вечного страха?! И оракулы честно отвечают: там, где падающее небо не причинит вам вреда. Многие понимают это буквально: берут семьи, имущество и переезжают, например, в Херсонес Карийский, окруженный горами со всех сторон. Мне смешно. Мне постоянно мерещится: Олимпийская Дюжина вопрошает и получает ответ – живите там, где вам не повредит падающее небо! После чего Глубокоуважаемые с семьями и имуществом переезжают в Херсонес.

Когда земля грозит разверзнуться, она поглощает живущих на ней. Когда проваливается небо, синева топит в себе горстку небожителей. Когда-то, давным-давно, небо упало на землю, буйный Уран покрыл зрелую Гею – и родились первые дети. Где они сейчас? Кто умер в те дни, ложась перегноем под новые зерна? Оскопленное небо молчит, хмуря седые брови облаков, и молчит земля, баюкая во тьме усталую утробу.

Море пахнет гнилым обещанием покоя.

Мы погибли под Троей.

– …вы неправильно начинали. Дело не в силе. Дело не в мастерстве. Дело совсем в другом: в малом. Просто надо очень любить этот лук…

Роговой наконечник скользнул в ушко тетивы сам собой.

– …очень любить эту стрелу…

Тетива, скрипя, поползла назад, к плечу.

Тела убитых уже убрали из мегарона. Часть для погребения вывезли рыдающие отцы, остальных я распорядился сжечь утром с подобающими почестями. Жаль, забыл уточнить – с какими именно. Могут неправильно понять. Из дюжины петель вынули дюжину рабынь, еще недавно через край полных кипящей жизни, а теперь годных лишь на корм воронам. Виновных в том, что любили заезжих женихов больше, чем следовало бы. Тринадцатая, самая дерзкая, оправдав свое имя – Черноцвет[3], – вчера родила сына. Надеюсь, крики совпали: первый детский и последний отцовский, когда стрела пронзила его грудь. Эвриклея велела закопать дитя вместе с матерью; я не стал возражать.

Падающее небо уже не причинит мне вреда. Во всяком случае, больше, чем причинило.

Я вернулся, но я еще вернусь.

[3] **Черноцвет** – греч. Меланфо или Меланфий, в зависимости от женского или мужского рода. Рабыня и козопас (тезки) в доме Одиссея.

– Остров Заката
Манит покоем,
Ручьями плещет.
Не пей, о странник,
из тех ручьев.
Покой опасен,
Покой обманчив,
Покой – покойным.
Ты жив, мой странник,
спеши уйти…

Мне бы хотелось свести тени с тенями. Как сводят счеты. Убитых женихов – с погибшими в долине Скамандра. И пусть одни жалуются на неудачную смерть, а другие хвастаются удачной гибелью. Пусть меряются славой и бесславием. Наверное, я бы мог это сделать. Но знаю: пройдет миг, другой, и мне станет *скучно*. Лук и жизнь – одно[4]; лук и смерть – одно. Сын Гектора, сброшенный со Скейской башни, един с сыном рабыни, умерщвленным в день своего рождения. Дочери Приама, заколотые на могилах ахейцев, – и мои любвеобильные красотки, развешанные на столбах. Приам-троянец, кощунственно убитый у алтаря Зевса Оградного, – женихи моей супруги тоже пытались прибегнуть к защите родового очага…

Озноб крадется вдоль хребта.

Если все повторить, я бы снова натянул лук. Лук Аполлона, с некоторых пор – лук Одиссея. Тайный голос убеждает меня в этом, и, разучившийся бояться, я боюсь, что он прав.

Остров Восхода
Манит лавиной,
Прельщает бурей.
Беги, о странник,
Не жди обвала.
Жизнь человека
посередине,
На тонкой нити
Между покоем
И ураганом…

В последнее время, когда я вслушиваюсь в детский плач у предела, мне часто приходят на ум удивительные песни. Приходят и исчезают, расплываются утренней дымкой. Я забываю их почти сразу. Что-то подсказывает изнутри: эти песни запретны. Надеюсь, рано или поздно они забудут дорожку к Одиссею, сыну Лаэрта.

Но не сейчас.

Сейчас – это значит сейчас. Между «раньше» и «скоро». Блей, овца моей памяти! Дрожи в ужасе! Литься крови – густой, черной! Пейте, тени… вспоминайте…

Я буду пить с вами, судорожно глотая память.

Я вернусь.

[4] Слова «лук» и «жизнь» по-гречески омонимы – «биос».

Песнь первая
Время кусает свой хвост

Не нам гадать о греческом Эребе,
Для женщин воск, что для мужчины медь.
Нам только в битвах выпадает жребий,
А им дано, гадая, умереть.

О. Мандельштам

Строфа-I
Шли-пришли-вышли…

Море обрушивалось на берег всей тяжестью, словно насильник-сатир – на застигнутую врасплох нимфу. Сгребало пригоршни грязного песка, вздымалось вверх, на дыбы, к бурлящей мути небес; злорадно медлило, прежде чем снова рухнуть на Авлиду, швырнув краденый песок в лицо Большой Земле. Тесно было морю в узости Эвбейского залива; хотелось простора. Обезумевшие чайки взахлеб орали над скалами, моля птичьих богов о милости; упрямые альбатросы молчали. От вони мокрых лент, намотанных на зубцы утесов, спирало дыхание. Случались бури посильнее, бывали куда более грозные штормы, но эта непогода, проигрывая в мощи, брала другим.

Грязь, дрянь, пакость.

– Корабль! Смотрите, корабль!

– «Пенелопа»! Клянусь грудью Амфитриты, «Пенелопа»!

– Радуйтесь!

Ветер на лету подхватил крики, рванул с треском. Понес клочья в ярящуюся даль. Туда, где кренились набок три мачты, заблаговременно лишенные парусов, где надрывались гребцы и гнулись тростинками весла; где рождался из бури смоленый корпус «Пенелопы». Вернулось на крыльях ветра, удивительно ясное:

Вздымает море
Валы-громады,
Любая – чудо,
Любая – воин…

– Безумец! – в восторге захлебнулся кто-то. – Слава Многокорабельному!

…Лазурноруки,
Пеннокудрявы,
Драконьи шлемы,
Тритоньи гребни…

Старый гимн кормчих вдохнул в толпу на берегу новые силы. Едва корабль достиг отмели, люди ринулись в воду. Сбитые с ног, вдосталь наглотавшись соленой воды, они цеп-

лялись друг за друга, руки тянулись к крутым бортам, тащили судно вперед, на спасительную сушу – и волны стихали вокруг, изумленные порывом смертных.

Вскоре корабль был в безопасности.

И почти сразу, словно уставшее проказничать дитя, заснула буря, подложив под чумазую щеку кулачок Авлиды.

Сколько досягал взгляд, берег усеивали шатры. Дымились кострища, даруя тепло, готовя еду и высушивая мокрую насквозь одежду. Отдыхали измученные суда, прикорнув на ясеневых катках. Солнце, изредка являясь в прорехах облаков, дивилось: великая армада, недавно отправившаяся под Трою добывать величия и подвигов, сейчас смотрелась блудным сыном, сполна вкусившим побоев. Песен не пели; явись в лагерь бродяга-аэд, прибили бы со зла. Больше молчали, недружелюбно поглядывая на соседа. В бедах всегда славно кого-нибудь обвинить. Почему не его, соседа?

Одиссей сидел в сторонке, возле «Пенелопы».

Хотелось лечь и сдохнуть, но сдохнуть было нельзя. Хотелось встать и уйти куда глаза глядят, но вокруг… глаза б не глядели! Хотелось, чтоб ничего не хотелось, но тогда не стоило бы так упрямо вырываться из цепких объятий моря. На дне покой, на дне тишина. Игра слов горше морской воды: на дне не надо заботиться о дне грядущем.

Все тело ломило, старый гимн кормчих застрял в глотке войлочным кляпом. Наверное, так чувствуют себя победители.

– С возвращеньицем! – насмешливо поздравил его проходящий мимо воин, голый по пояс. Латный запон[5] блестел влажными бляхами, напоминая яблоко в росе. – Подобру ли, поздорову?!

Рыжий поднял голову.

Воина он не узнал. Зато узнал тень воина на песке. Не так много в Ахайе взрослых людей, за которыми волочится тень ребенка.

– Протесилай? Из Филаки?

– Смотри-ка, запомнил! А я уж думал: богатый буду…

Он собрался было шлепать дальше, но обернулся напоследок:

– Ты чего на меня вылупился, рыжий? Не нравлюсь?!

– Нравишься… Ты мертвый, да?

Воин озадаченно почесал волосатую грудь. Ниже ключиц волосы начали седеть, битые инеем лет. Большинство в недоумении чешут затылок; Протесилай же обычно скреб грудь – давняя привычка. Впрочем, затылок у него мощный, бугристый, что твоя грудь. Вон, бросил чесаться.

Буркнул, раздражаясь:

– Чтоб тебя!.. Зацепил на свою голову!

– Нет, ты мертвый?

– Ну конечно, мертвый! Только с костра! Оглядись: сплошной Аид!

Одиссей не принял шутки. Сидел, горбил широченные плечи, отчего казался много ниже ростом, чем был на самом деле. Исподлобья разглядывал грузного филакийца – еще один памятник смертельной усталости. Вот он, пред тобой: Иолай-Копейщик, бывший возница Геракла. Почему же вместо вопросов, о каких мечталось, рождается хрипло:

– Тебя убили. Сам видел!

– Где?

– Под Троей! Или не под Троей, кто тут разберет…

---

[5] **Запон** – боевой пояс с передником, обшитым медными пластинками. Вместе с панцирем образовывал двойной слой брони.

Протесилай помрачнел. Хотя казалось: больше некуда. Плюхнулся рядом на песок – Одиссей даже не успел растянуть на двоих край подстилки. На щеке филакийца красовался свежий кровоподтек; нижняя губа была прокушена.

– Ты сколько дней сюда плыл? – вместо брани спросил он еле слышно.

Теперь настал черед мрачнеть рыжему.

– День. Один день.

– Или больше?

– Или меньше.

– Бред какой-то… – выдохнул Протесилай, куснув раненую губу и зашипев от боли. – Бред, чушь!..

– Бред, – вяло согласился Одиссей.

– Нет, ты не понимаешь! – Филакиец сорвался на крик, поперхнулся: вроде бы хотел добавить свое обычное «мальчик», но раздумал. – Гидра тебя заешь, ты ничего не понимаешь! День он плыл… А я – неделю. Треть кораблей растерял; гребцы ладони до кости стерли! И вот на тебе: я сегодня вернулся, на рассвете, а ты – тоже сегодня, только под вечер! Теперь понимаешь?!

– А ты? – в свою очередь поинтересовался рыжий, тщательно просеивая мокрый песок сквозь пальцы. Можно было подумать, от этого зависел грядущий военный успех. Тучи издевательски клубились над головой, вертя из себя кукиши. Песок слипался в комки, отказываясь сеяться. Словно само Время, влажное от пота и крови, упрямо застревало в песочных часах.

– И я, – был странный ответ. – Может, навоевались, а? Может, все?! Сплавали разок, и хватит?

…Тень ребенка корчилась на песке, что-то доказывая моему Старику. Дергала плечами, мотала головой. Никакого уважения к неподвижному хозяину. Старик молчал, зябко горбясь. Щупал ладонью потную лысину, хмурился. Наверное, ему тоже хотелось сдохнуть.

Безнадежно.

– А тебе вообще разговаривать не положено. – Одиссей с трудом оторвал взгляд от беззвучного разговора теней. – И кричать на меня не положено. Убили тебя, значит, убили. Молчи теперь.

Протесилай скривился: будто поджившую рану зацепил, содрал корочку.

– Молчу теперь, – согласился он.

– Клялся ведь? В Спарте?

– Ну, клялся. Успел, на свою беду. А что? Все клялись, и я тоже…

– Вот и воюй, как все.

– По-человечески?

Обеими руками Одиссей взлохматил мокрый пожар шевелюры. Добавил тихо, с нажимом:

– По-человечески. Слушай, у тебя выпить не найдется?

– Крепкого?

– Ага.

* * *

Если верить моим собственным ощущениям, первый раз мы отплыли из Авлиды под Трою дней пять тому назад. Это если верить. Когда все взывает: не верь! Погода и тогда была гнусней гнусного: «мряка», как шутили острые на язык феспроты. Ох, и словечко… ох, и погода!

Уж лучше шторм.

Калхант-прорицатель плыл со мной на «Пенелопе». Моргал совиными глазами, утробно икал. Злился. На его месте я бы тоже злился: знамения хором обещали ветер в спину и солнышко в небе. О чем Калхант, руководя общевойсковым жертвоприношением, имел неосторожность возвестить. Небось сейчас народ честит пророка на чем свет стоит – в Бездну Вихрей, в Тартар, в Эреба корни!..

Вот и икается.

Набухшая простыня болталась над головой. На ней спал капризный, страдающий недержанием ребенок: желто-серая гадость струилась по лицу, вызывая приступы тошноты. Ни день, ни ночь: ублюдок без названия. Лиловое море пенилось под эскадрами, но видимость была никудышная. Казалось, «Пенелопа» идет в гордом одиночестве. А плеск, отдаленные выкрики и хлопанье парусов – морок. Гребцы пробовали петь: впустую. Любой гимн глох на середине.

– Удружили… – брюзгливо каркнул Калхант.

– Кому?

Я действительно не понял, о ком говорит прорицатель.

– Аэдам. Нас воспеть – язык сотрется. Пока каждого восхвалишь, да список кораблей, да кто откуда… Слушатели черствыми корками забросают.

Задрав голову к небу, я задумался: с чего бы Калханту беспокоиться судьбами грядущих певцов? Блик солнца, медовой каплей сверкнув на излете, походил на осеннюю луну: пористый, щербатый. Вечерний. По левую руку тучи лопнули, разошлись, и в прореху высунулись утесы, увенчанные дворцом.

Знакомый силуэт.

– Скирос?!

Калхант встал, обогнул судовой алтарь. Подошел ближе к борту:

– Похоже…

Уж кому, как не мне, было знать: до Скироса еще по меньшей мере два дня пути. И все-таки – Скирос. Ну, не сошел же я с ума!.. То есть, сошел, конечно, но не до такой же степени! Вон там, на пляже, мы приманивали женщин безделушками, вон лестница, по которой гремел вниз голый Патрокл… Я даже не успел удивиться другому: почему мы так близко к острову, когда намечалось идти северней, мимо лемносских берегов, – и почему мерзкая погода позволяет видеть дворец с предельной отчетливостью? Как на ладони: верхняя терраса, у перил замер муравей, блестя спинкой, алой с чернью. Плащ, наверное. Кто-то из басилейского семейства.

Или гость?

Второй муравей тайком выполз из дверного проема. Приблизился к первому, хищно дернул усиками.

– А-а-ах!

Клянусь, это не я. Это Калхант. А я вообще ни словечка! Ни звука! Только смотрел, как первый муравей – ало-черный зигзаг! – летит с террасы на клыки рифов, чтобы сразу скрыться под водой.

Минуту спустя весь остров исчез в густом киселе тумана.

– Цвета Афин, – бросил внезапно осипший Калхант.

– Что?

– Алый с черным. Афинские, говорю, цвета. Такой плащ был у Тезея, когда его изгнали. Последняя память.

Я слышал историю о предательском убийстве Тезея-Афинянина. Сброшенного с дворцовой террасы здесь, на Скиросе, ныне царствующим басилеем. Все знали, все слышали, но доказательств не было. Да никто особо и не рвался доказывать (а значит, вступаться!) за мятежного

героя, выпущенного из преисподней могучим Гераклом вопреки воле темных владык. Изгнанник, руки по локоть в крови… святотатец!..

– Я тогда еще в саду игрался, – говорить было трудно: саднило горло. Будто соленой воды наглотался. – За ограду только с няней… А ты?

– Я уже за ограду, – непонятно ответил прорицатель. – Мама рассказывала: кричал ночами. Меня как раз накрыло… Видел, но не понимал: что?!

Он осекся. Чудно сверкнул глазами: брызнули желтые искры на сером. Уставился поверх моего плеча.

Добавил чуть погодя:

– Вот как сейчас: не понимаю… Просто боюсь.

Я обернулся. Там, где еще минуту назад торчали скалы Скироса – выше, между липкими медузами туч, – скользили пять птиц. Крупных. Три торопились, две догоняли. На замызганном фоне плохо получалось что-нибудь разобрать, но преследователи больше походили на крылатых людей, чем на обычных альбатросов или орланов. Да и преследуемая троица…

Не бывает у чаек женских голов.

– Гарпии меня раздери!

– Вот-вот, – согласился Калхант и замолчал надолго. Наверное, пытался по полету гарпий, или кто там летал, предсказать будущее. Судя по выражению его лица, меня такое будущее не устраивало.

Ни капельки.

Рыжий, рыжий, конопатый,
На плече несет лопату!
Не лопату, а весло —
Чтобы мимо пронесло!

Глупая дразнилка прицепилась хуже репья. Мы шли Лиловым морем на Трою, а я отчетливо слышал: дразнятся. Не поймешь, кто, но сволочь. Поймаю – удавлю. Гребцы стали оглядываться на меня: тоже небось услыхали. А я-то надеялся: видение… в смысле, обман слуха.

Фигушки, как любил говаривать друг-Ментор.

Мы шли Лиловым морем на Трою. Сперва раздались вопли испуга с других кораблей. Потом я заорал сам. Заорешь тут – когда *он* шел Лиловым морем из-под Трои. На запад. Или куда там *он* шел: огромный, больше горы, с выжженными глазами. По пояс в волнах; темечком под облака.

Рядом с мосластым ухом болталась звезда: верный пес гиганта[6].

Волна толкнула нас в бок, а когда гребцы выровняли судно, *он* скрылся из виду.

* * *

…Протесилай кивнул. Опустевший на две трети бурдюк валялся рядом, неприятно напоминая дохлую, распухшую по жаре козу. Захватить чаши филакиец не сподобился; глотали крепкое вино по очереди, прямо из мохнатого горлышка.

Забрызгались по уши; измазались в песке.

– Я его видел, – сказал филакиец. – Здоровенный такой. Слепой. Знаешь, когда я с мальчиками… с Гераклом… Антей-ливиец[7] тоже был сыном Посейдона. И тоже – большой.

---

[6] **Сириус** – иначе Орионов пес. Орион, великан-охотник, сын Посейдона и Геи, за насилие был ослеплен хиосским басилеем. Получив от отца дар хождения по водам, ведомый звездой-псом, отыскал Гелиоса и получил от него солнечные глаза.

[7] **Антей** – сын Посейдона и Геи, родной брат Ориона. Непобедимый на земле, был поднят Гераклом в воздух и задушен.

– Ты хотел бы вернуть те времена? – вдруг спросил Одиссей.

Наверное, вино ударило в голову. Иначе откуда бы такой вопрос?

– Нет, – ни минуты не колеблясь, ответил Протесилай. – Вернуть времена? Нет.

Он встал. В ту же минуту встал Старик. Шагнув раз, другой, стараясь не наступить на детскую тень, приблизился к бывшему вознице Геракла. Рыжий обратил внимание: они похожи. Тяжкорукие, крепко сбитые; маловыразительные черты. Смущало другое: лицо Старика, обычно бесстрастное, сейчас пылало гордостью. Можно сказать, гордыней. С таким лицом штурмуют Олимп.

– Скажи, рыжий, – буднично сказал Протесилай, сделавшись древним-древним, едва ли не ровесником Старика. – Ты действительно видел, как меня убили? Там, под Троей?

И, не отворачиваясь, дождался ответа.

Троада
Гераклов Вал, долина Скамандра
(Трагедия[8])

– Земля!

И почти сразу, отовсюду наслоившись на первый выкрик:

– Троада!

…а ребенок у предела, счастливый, смеялся и хлопал в ладоши.

Этого не могло быть. Даже к Лемносу мы должны были подойти через сутки. На месте Калханта впору сетовать, посыпая голову пеплом: наверняка грядущие аэды припишут нам незнание морских дорог в Трою.

– Земля! Троада! – надрывался сигнальщик, опасно качаясь в «вороньем гнезде». Словно испугавшись его воплей, тучи дрогнули, смешались… Я еще успел подумать: как он вообще разглядел берег?! – а простор уже стремительно светлел. Клок голубизны бесстыже выпятился из дерюги, словно шелковистое бедро красотки в разрезе дешевого хитона; миг, другой – и голубизна катится во все стороны, срывая одежду, обнажаясь с ловкостью страстной любовницы…

Нет, я все-таки кобель.

Солнце ударило наотмашь, ослепив, наполнив глаза слезами – я плакал от чудовищной радости, встретив наконец войну лицом к лицу; слезы текли, блестели, смывая накипь дурацких видений, и взору открылось: берег, Гераклов Вал, остатки давних укреплений, дальше сверкает зеленью русло Скамандра… угловые башни города, Скейские ворота – когда-то нас туда внесли на руках… еще дальше – лесистая вершина Иды, а удивление явилось гораздо позже: «Пенелопа» шла отнюдь не в первой эскадре, но мне было видно все, до мельчайших подробностей – впору равнять себя с Аргусом Золотые Ресницы, да я бы и равнял, жаль, радость сменилась запоздалым ужасом: вот она, война, лицом к лицу… одно мое лицо – к тысячам, десяткам тысяч…

Никогда не думал, что защитников Трои окажется так много.

…а ребенок у предела, счастливый, смеялся…

Толпясь на берегу, они выкрикивали оскорбления, раскручивали над головами пращи и готовили дротики; слезы вновь брызнули из глаз – так сверкали доспехи, а «Пенелопа» вдруг оказалась очень близко к берегу («О-о!» – восторг на смуглом лице какого-то копейщика, явно самого шустрого); столь же резко берег отдалился, надвинулся, окружил, выгибаясь блудливой сукой… высадка срывалась, под ливнем дротиков, под дождем камней, под ослепительно-синим небом, похожим на чей-то взгляд, только я забыл в суете – чей?.. «Дядя Диомед! – взвилось от эскадры мирмидонцев. – Дядя Диомед! я! пусти меня!..», и в ответ медным приказом аргосского ванакта: «По вождям! Бейте по вождям!» Кинув через голову перевязь колчана, я ринулся наверх, в «воронье гнездо», едва не вышвырнув сигнальщика прямо в воду, а лук счастливо прыгнул в ладонь, тепло, по-домашнему, и ядовитое жало стрелы само нащупало высокого троянца в богатых доспехах: едва он упал, люди вокруг перестали швыряться дротиками, один поднял с земли откатившийся шлем, замер и вдруг горестно завыл по-волчьи;

[8] **Трагедия** – греч. «Козлиная песнь».

я слышал этот гимн отчаянию, я раздавал стрелы легко и празднично, превращая крик в хор, а часть кораблей уже затопила берег, и Протесилай-филакиец первым убил и первым умер, когда копье Гектора Приамида вонзилось ему в бок, только это не имело значения, ибо малыш Лигерон дорвался наконец до заветной игры – плоть Не-Вскормленного-Грудью расступалась и смыкалась под ударами, как расступались троянцы перед неуязвимым мальчишкой; он прорвал! прошиб! пробил живую стену, кому не досталось удара, тем достался страх, защитники города пятились под прикрытие мощных стен; «Бей по вождям!» – мы били, вознесенные над людьми, и Тевкр Теламонид соперничал со мной в меткости, а мне все чудилось: мы стреляем, стоя бок о бок в небесах, хотя мы находились на разных кораблях; и я видел, когда нельзя было видеть, попадал, когда можно было лишь промахнуться, и судорожно пытался понять, зная, что понимать – не для меня…

…а ребенок у предела, счастливый…

На плечах отступающих врагов мы врывались в Трою, беря победу голыми руками; я стрелял из «вороньего гнезда», я бежал в первых рядах атакующих, и это казалось правильным, единственно верным, даже если мои стрелы падали рядом со мной, прикрывая меня от подлого удара огрызающихся троянцев… Малыш Лигерон бушевал в Скейских воротах, сметая стражу, но город вдруг отпрыгнул назад, город-оборотень, берег-оборотень, бой-оборотень; город стал иным, стены изменили очертания, исчезли знакомые башни, лесистую вершину Иды смыло с горизонта, река-змея взвилась на хвосте, из Скамандра превращаясь в Каик (откуда я знаю, что это именно Каик?!), ворота оказались надежно заперты, и вместо Гектора со стены орал незнакомый детина, припадая на левую ногу и потрясая кулаком. «Предатели! Изменники! – надрывался он. – За что?!»

И тогда мы бросились к кораблям: бежать в бурю, явившуюся за нами – слепцами.

…а ребенок у предела…

* * *

От влажного песка тянуло сыростью. Шустрый краб вперевалочку шмыгнул под камень и угрожающе высунул клешню, притворяясь пергамским копейщиком. Подставь палец – не обрадуешься. Чайки над головой ссорились из-за куска чистого неба: самая жирная туча лопнула по шву, открыв птицам часть подкладки из крашенного синькой холста.

Гуляй, пока дают.

– Ага, – сказал Протесилай. – Значит, все-таки Гектор. Ты уверен?

– Уверен. Я его раньше видел, Гектора. Когда в посольство ездил, познакомился.

– Понятно. Вот и я: познакомился.

И филакиец принялся драть зудевший бок ногтями: зло, с остервенением. Смутился, заметив косой взгляд Одиссея. Зашелся хохотом:

– Долго жить буду! Ох, и долго!

Одиссей не видел в этом ничего смешного.

– Здесь уже все знают, – утирая слезы, заявил филакиец. – В Мисии мы высадились. Тамошняя столица – Пергам, тезка троянского акрополя. И речка между берегом и городом. Знать бы другое: как мы вообще там очутились? Словно глаза отвели… У мисийцев в басилеях Телеф Гераклид, наш союзник. Теперь, наверное, бывший союзник. Позор…

– А я на обратном пути отца видел, – невпопад заявил рыжий.

– Отца?!

– Только молодого. Мы плывем, вокруг буря, а из нее – пентеконтера. На носу – статуя Афины, ниже надпись: «Арго». И папа у кормила стоит. Я его сразу узнал. Кричал, кричал… не услышали.

– Бывает.

– Что бывает?! Что бывает, я тебя спрашиваю?!

– Все бывает. Слушай, а почему, когда ты рассказываешь – мне хочется верить и соглашаться?!

Ну, это Протесилай уж совсем загнул. Ни на какую голову.

А он вдруг оказался совсем рядом. Горячий, большой. Нагнулся вперед, правой ладонью ухватил затылок рыжего. Притянул к себе; уперся лбом в лоб, будто предлагал бодаться. Пальцы левой руки сжали предплечье: кузнечные клещи на заготовке. Опытная, борцовская повадка не несла ничего угрожающего, только подумалось: захочет – сломает.

Мысль явилась спокойно и тепло. Как спокойно и тепло было затылку в ладони бывшего возницы Геракла.

– Живи долго, мальчик, – жаркой просьбой дохнул филакиец прямо в лицо. – Ладно?

– Вместе с тобой?

Его глаза… На самом донце, за темно-карими глубинами, растворившими в себе даже черноту зрачка, все длился, не стихал вечный бой, до ужаса похожий на высадку под лже-Троей; и в гуще свалки пожилой воин, беззвучно крича, вздымал над головой тяжелое колесо. Золотая стрела наискось перечеркнула видение, Протесилай моргнул, и бой исчез.

Глаза как глаза.

Смотрят.

– Вместе со мной не надо. Живи долго просто так. Сам по себе.

– А ты?

– И я, мальчик. Я тоже – где-то рядом…

…Я не сразу заметил: мой Старик подошел вплотную к нам обоим. Улыбается. Светло и печально. Нагнул плечи, опустил подбородок; слегка присел. Вот сейчас, сейчас: лоб в лоб. Взгляд во взгляд; тень в тень. Если этот прихватит, возьмет затылок в ладонь – пожалуй, не хуже филакийской сноровки выйдет. Или лучше.

Так думать было приятно.

И чуть-чуть страшно.

Антистрофа-I
Спрашивайте, мальчики, спрашивайте!..[9]

Дурацкая, но справедливая шутка: после наших сборов-отплытий-возвращений каменистая Авлида станет плодородной. Соседка-Беотия, жирней жирного, от зависти лопнет. Наверное, поэтому я велел моим свинопасам: ставьте лагерь на отшибе. Где сандалию есть куда поставить. Тут за дальними отмелями – мысок не мысок, загогулина смешная; вот мы и расположились. Суда быстренько перегнали, лежим-кукуем. Ждем у моря погоды. Отсюда в ясный день, говорят, эвбейский берег виден. Милый друг Паламед за сегодня дважды приходил, смотрел в сторону родины. Тоскует небось. Или меня, стервеца, проверяет: не готовлю ли какую пакость?

Ясное дело, готовлю. Не нужен мне берег эвбейский. Наше дело маленькое: руку под ухо сунул, вот тебе и тайные каверзы. А на спине мне хуже спится. Храпеть начинаю. Давно заметил: лучший способ обидеть родного человечка – обмануть ожидания. Яму на пути вырыли – обойти десятой дорогой; кубок из-под воровитой лапы вовремя убрать.

Ох, обижаются!.. Злыми словами за спиной бранятся…

Он же, Паламедушка, мне и про малыша нашего, Грудью-Не-Вскормленного, все-все сплетни, какие есть, на ушко перешептал. Любят его дышащие бранью ахейцы; так любят, что вскормить готовы. Баб-авлидянок днем с огнем не сыщешь, поселяне жен с дочерьми в погреба запрятали. Одни старухи по деревням – у героев сердца кипят, а малыш Лигерон просто не малыш, а чистое умов смущенье. Рыжий, гладкий. Глазищи доверчивые, кроткие. Моргнет девичьими ресницами, народ аж дуреет. Патрокл-нянька троих изувечил сгоряча – нет, лезут и лезут, как мухи на мед.

– А я? – спрашиваю от скуки. – Я тоже рыжий.

Паламед кольцами сверкнул. Потер пухлые ладошки:

– И ты, дружок, рыжий. Да не гладкий. Шершавый ты, и кротости во взоре ни на шекель хеттийский. К тебе подкатись, об углы обломаешься. Я б, например, поостерегся. Мне, например, твоя любовь по ночам не снится.

Это он правильно. А то рожу я ему мальчика. Хлопот полон рот, и весь без зубов.

Настроение у меня сложилось – лучше некуда. Дерганое такое, липкое веселье. Хихикаю беспрестанно. Нежусь в объятиях великой блудницы: войны. Смута ожидания, дурные чудеса по дороге; вонь Авлиды – отхожей ямы, куда справляют великую нужду десятки тысяч медноблещущих героев. Почему-то раньше ни разу не слыхал, чтоб певец дерьмо солдатское восхвалял-описывал. Все большей частью гром, молния и бурнокипящие деяния. То ли певцы меж собой сговорились, то ли мне в жизни не повезло.

На неправильную войну угодил.

Вон, к вождю вождей Агамемнону, к самому носатому вызвали, а я хихикаю, как дурак. Иду помаленьку, хромаю от большой преисполненности мудрыми советами – и хихикаю. Хуже икоты.

Ты, гонец, на меня брось коситься. Не играй бровями.

Герою смех к лицу.

---

[9] Снова замаячили быль, боль,Снова рвутся мальчики в пыль, в бой,Вы их не пугайте, не отваживайте —Спрашивайте, мальчики, спрашивайте!..А. Галич

* * *

В шатре микенский ванакт был не один. На скамеечке в углу прикидывался совиным чучелом Калхант: моргал, куцую бороденку пощипывал. Небось оттого и куцая, что все время щиплет. Хмельной Гелиос шалил с тканью шатра, и взгляд терялся среди хаотического мелькания бликов. Очень хотелось сплюнуть: по дороге, стараниями забияки-ветра, наглотался песка вдоволь. Но не плевать же в шатре под ноги богоравному хозяину!

От этой мысли плюнуть хотелось вдвое больше.

– Радуйся, Лаэртид! – поднялся навстречу Агамемнон; сверкнуло золото скипетра, с которым ванакт и дневал, похоже, и ночевал. А с лица-то спал, осунулся, желтизна в щеки брызнула. От недосыпа, должно быть. От дум державных. – Как доплыл? Когда вернулся?

Не водилось за ним раньше подобного участия. За царственным нашим. И в глаза не смотрел. Сам беседу ведет, а глядит мимо уха. Или поверх темечка – если на целую голову выше, оно хорошо получается. Вроде как вдаль. Вроде как нету тебя рядом, муха ты, шмель, сорока-стрекотуха, а ванакт сам с собой умные мысли из пустого в порожнее переливает. Зато нынче в упор видит: кивает, кривит тонкие губы в улыбке.

Скоро лобызаться полезет.

А Калхант наоборот: в углу горбится. Улыбку съел-проглотил; вместо рта – стянул шрам ниточкой. Не иначе, вчера стрижи поперек неба летали, а ласточки вдоль: разгадывай, коль зорок!

– Радуйся, Атрид. Доплыли без потерь, все корабли со мной. Позавчера пристали, уже в сумерках.

А что еще ему рассказывать? Не об «Арго» же встреченном?!

– Позавчера? А я пятый день здесь торчу… – задумчиво бормотнул Агамемнон. И скипетром эдак помахал: со значением. Ага, он – пятый. Протесилай – третий, зато почти неделю плыл. А некий сумасшедший Одиссей, сын Лаэрта, тоже третий день разменял. Плыл же – всего-ничего.

Впору радоваться: когда у всех башка набекрень, родное безумие мудростью обернется.

– Твои людишки как, не ропщут? Еще раз под Трою пойдут?

– А что, есть выбор?

Обидно резануло: «людишки»…

– Ну и славно. А то некоторые по домам засобирались. К хозяйкам под бочок. Ну ничего, это моя забота, – Агамемнон прошелся по шатру, вертя в руках скипетр. Будто примеривался: кого бы огреть? – Значит, можешь оставить своих без присмотра? Не разбегутся?

Ответ был бы лишним.

– Тогда не в службу, а в дружбу: езжай в Микены. Туда-сюда, через Истм… дней за десять обернешься. Или лучше морем?

– Хуже. Ветер дрянной, придется на веслах, да еще и крюк здоровенный: вокруг Аттики. Только гребцов умучаю…

Вспомнилось: у Сумийского мыса островок есть, Елена называется. Застрянем по пути: будем Елену Сумийскую вместо Елены Прекрасной освобождать!

– Хорошо, я тебе доверяю. Глашатая своего в попутчики дам. Вот, возьми еще перстень – чтоб не сомневались. Потом себе оставишь, перстень: он дорогой. Привези ты мне…

По желтому лицу Агамемнона скользнула тень, и ванакт поспешил отвернуться. Вряд ли это было связано с глашатаем или с перстнем. Даже прорицатель в углу натянулся струной. Ждет ванактского слова, золотого, будто скипетр. Да что вы все? Сдурели?!

– …привези мне дочку, – вдруг попросил Агамемнон. Тихо, угрюмо, словно ожидал отказа. – Дочка у меня в Микенах… Я тебя очень прошу, Лаэртид: привези ты ее, ладно?! Должником твоим буду… Привезешь?!

– Э-э… я, конечно… Я с радостью! – Откашляться удалось не сразу. И не до конца: изрядная доля недоумения осталась, явственно сквозя в словах. – Только, богоравный, не сочти за дерзость: зачем тебе дочка на войне? Или мы уже не собираемся плыть под Трою?

– Собираемся, – отрезал Агамемнон, быстро становясь прежним. Подошел вплотную, навис горным кряжем. – Калханту знамение было: вскорости грядет удача…

Ясно. Оттого и в лицо не глядит, пророк наш. Его знамения – известное дело. На этот раз небось вместо Трои на Кипре высадимся, штурмовать сослепу станем. Там муравейников много, примем мурашей за троянцев, всех раздавим. Надо будет сандалиями запастись.

– …пойми: дочку я сдуру Лигерону пообещал. В невесты. Ты ж его знаешь, блажного: если приспичило, вынь да положь! Обручим детишек и сразу выступим. Поторопись, Лаэртид, а? Воины ропщут… еще месяц – разбегутся…

Ванакт замолчал. Густые брови тучами сошлись над знаменитым носом: сейчас громыхнет!

– Сделаю, богоравный. Пришли глашатая к моему шатру, я буду ждать.

Странно: Калхант так ни словечка и не проронил.

На обратном пути вспомнились удивительные слова филакийца: «Слушай, а почему, когда ты рассказываешь – мне хочется верить и соглашаться?!» Когда говорил Агамемнон, вождь вождей, верить не хотелось. И соглашаться. Хотелось подчиняться. Слепо. Без рассуждений. Раньше такого и в мыслях не было, а сейчас – поди ж ты!

Одиссей сам себе дивился.

* * *

Долгие сборы – пустые хлопоты. Еда в котомке. Переодеться: льняная эксомида для жары, «геройский плащ»[10] на ночь. Шляпа из войлока, с широкими полями – от солнца. Колесницу микенец свою дал, не пожалел. Я послал к Диомеду: пусть даст две дюжины верховых куретов. Не дал, синеглазый. Без объяснений. Он еще со Скиросской потехи дуется. Ну и ладно: возьмем свинопасов, бывалых – они, если надо, в ходьбе злые.

Все.

Эврилох, остаешься за старшего.

Глашатай по имени Талфибий явился вовремя: орлиный взор, орлиный нос, царственная стать. Обзавидуешься. Фригийский колпак с загнутым вперед хохолком только усиливал сходство с царем птиц. Ростом орел выше меня на добрый локоть – вот пусть и правит лошадьми. Все польза. Кстати: если от Мисии в Авлиду за день доплыли, может, Микены теперь вообще рядом? Вон за тем холмом, к примеру? Нет, морские безобразия на суше закончились. Во всяком случае, никаких Микен за холмом не обнаружилось. Ветер одежду рвет, пыль смерчиками закручивает, деревья треплет – хорошо! Глядишь, пока ездим, войска сами разбегутся. Был поход, да сплыл.

«Клятва-а-а!» – мигом напомнил ветер, угрожающе свистнув в ушах.

---

[10] **Эксомида** – особая разновидность легкого хитона, не стеснявшая движений, концы которой связывались на левом плече. «Геройским плащом» к этому времени повсеместно стали называть теплую хлену, в которую ночью закутывались, как в плотное одеяло.

Ладно, ладно. Помню. Сам же эту проклятую клятву и придумал: «…никто не поднимет оружия на мужа дочери моей, но придет на помощь ему в трудный час, не жалея сил, крови и самой жизни!..» Расхлебывай, муж, преисполненный козней различных. Приходи, не жалея. Откажемся, оставим красавицу Елену на произвол судьбы – самый произвол и начнется. У Глубокоуважаемых развяжутся руки: клятвопреступников, как известно, боги сурово карают. Шарахнет молнией – кто там после разбираться станет: был ты в Спарте, не был, клялся, не клялся…

А у меня еще и вторая клятва за плечами висит.

Как козел, когда на бревне с пастухами…

Пылит дорогой колесница. Стучат дробно конские копыта. Шлепают подошвы. Ветер шустрит в кронах. И еще: далеко, на самом краю слышимости, обиженно хнычет ребенок. Пока не плачет. А под лже-Троей и вовсе смеялся. Но чувствуется: вот-вот. Раньше не задумывался, а сейчас вдруг ударило молнией: что, если это я, прошлый, так себя, будущего, слышу?!

Предупредить пытаюсь, а крик тот детским плачем доходит?..

* * *

Пение мы не сразу расслышали. Думали: мерещится. А едва дорога из-за утеса вывернулась, на равнину пыльной речкой плеснула – тут и услышали, и увидели. Наряды праздничные на зеленом лугу. В глазах рябит. Дудки дудят, тимпаны гремят-брякают, свирели разоряются. Кто-то поперек всего в рог дунул – от полноты чувств, должно быть. Радуются добрые поселяне, хороводы водят. И дымок над кострами курится. Небось сейчас отпоют-отпляшут – пировать засядут.

У нас в каждом селе свои праздники. Однако уж больно с размахом гуляют…

Вот и Талфибию тоже стало интересно. А глотка у микенского глашатая оказалась: ого-го! Над дудками-тимпанами, над песнями-гиканьем:

– Радуйтесь, авлидяне! Пусть будут благосклонны к вам боги, пусть внемлют они вашим мольбам! Скажите: что за праздник?!

Дюжина человек взялась махать нам руками: присоединяйтесь! Остальные решили посрамить глашатая дружным хором – естественно, ничего путного в их криках разобрать не удалось. Наконец добрые поселяне выдохлись, и к нам был отряжен самый быстроногий парнишка.

Талфибий придержал коней. Вскоре запыхавшийся посланец остановился возле колесницы.

– Радуйтесь! – выдохнул он и умолк, судорожно глотая ртом воздух. Будто вынырнул с изрядной глубины; мокрые волосы и капли пота, стекавшие по лицу, лишь усиливали впечатление. – Староста Холмищ-Геройских приглашает вас разделить с нами праздничный пир!

– Благодарим за честь, но мы торопимся. – Я мимо воли улыбнулся взопревшему «гонцу». В ответ на угреватом лице паренька радостно просияли глаза: большие, серые. – Кому жертву приносите? Кого нам по пути восхвалять?

– Как – кого?! – изумился парнишка. – Сегодня же Амнистии[11]! Дни Прощения! Вы что, с неба свалились?!

Мы с Талфибием переглянулись. С неба, не с неба…

– Местный обычай? – предположил глашатай.

В ответ нас захлестнуло потоком мудрых суждений. Нет ничего выше сыновней любви и отеческого всепрощения; а также наоборот. Великие боги нам в том порука и пример. Ибо, исполнившись кротости, Зевс-Добросердечный, некогда свергший отца в Тартар, ныне даро-

[11] **Амнистия** – греч. «прощение, забвение».

вал родителю амнистию, позволив оставить место заточения. И воцарился Крон-Временщик, в свое время оскопивший родного папу по просьбе родной мамы (последнее вызвало у «гонца» искренний восторг: даже притопнул босой ногой…), на Островах Блаженства – даруя смертным радость его восхвалять.

Вот, значит, восхваляем.

По мере сил.

– И давно?

Талфибий развязал ленточки у подбородка. Снял колпак: из уважения к древнему божеству. Э, друг-глашатай, да ты лысый!.. Я последовал его примеру, сбив шляпу на спину. Ремешок больно врезался в кадык, словно меня пытались исподтишка задушить.

Дурацкое сравнение.

– Давно! Я еще маленький был, когда Амнистии учредили. Пойдемте, а? Сейчас пир начнется. Мы уже Кривого Антифа с братом в жертву принесли, но Гуней-шорник сказал, что ради хороших людей готов на алтарь вне очереди! Вы не подумайте, он – с радостью! Ведь прямо к великому Крону попадет, на Острова Блаженства! Идемте!

Парнишка попался языкатый и убедительный, но мы спешили. Да и смотреть, как счастливца-добровольца отправят на Острова Блаженства… Я покосился на моего Старика, но тот угрюмо дырявил взглядом землю.

– Увы, прекрасный отрок! По приезде в Микены мы почтим Крона Уранида должной жертвой. Радуйтесь! – и глашатай хлестнул коней.

Позже Талфибий буркнет обиженно:

– А врать-то зачем? Давно, мол, празднуем, маленький он был… надо было враля – стрекалом.

Я пожал плечами.

* * *

Ночевали в какой-то дыре. Родная небось сестра Холмищ-Геройских. Жирный староста суетился, не в силах уразуметь: бояться ему или радоваться? Кровяной похлебки наварил, с солью и уксусом; пифос винца откопал, вполне приличного. Дочку все вперед выталкивал или внучку, но тоже ничего. Круп, как корма у «Пенелопы»: на любую пристань въедет. А вот спать в доме я отказался: душно. Пусть горожанин Талфибий в четырех стенах парится, а мне на сене куда как вольготнее!

Итакийская глушь приучила.

Опять же: взбредет, к примеру, хозяйской дочке-внучке в голову проведать дорогого гостя…

Небо, если глядеть из-под плетеного навеса, – серое, замызганное одеяло. Скрылись от досужих взглядов звезды. Где ты, моя зеленая? Прячешься?! Духота одолевает даже на сеновале, хотя здесь ее чуточку скрашивает густой, пряный аромат умирающей травы. Сейчас, с моей сегодняшней террасы возвращения, когда от моря тянет сыростью, остужая разгоряченное лицо, мне очень трудно вернуться туда, в душный морок ночи, сгинувшей в бездне лет. Жара прошлого морочит, выскальзывает из захвата влажной ладошкой, хихикает далеким детским смехом на самом краю сознания, я злюсь… и вдруг (кубарем! кувырком!..) вновь оказываюсь на сеновале былого.

Мысли бродят в голове отвязавшимися козами. Пастух отлучился по нужде, вот козы и норовят забраться в чужой огород, где им совсем не место. Они-то уверены в обратном: самое что ни на есть место! Глодай, не хочу!

…И вкус запретно-странно-непривычен…

Куда сгинула Сова? Услышь, синеглазая! Сколько раз ты приходила ко мне – вот так, среди ночи, где-нибудь на Большой Земле… Я скучаю по тебе, богиня моя! Почему ты не даешь весточки? С тобой что-то случилось? Беда? Опасность?! И почему я думаю о тебе, когда должен думать об оставшейся дома жене? Потому что ты, моя сова, олива и крепость, в силах ко мне прийти, а Пенелопа – нет?!

«…и Ангел сгинул, – хрустит краденой репой мысль-коза. – То на каждом шагу подворачивается, а теперь – днем с огнем, ночью с факелом! Эй! Куда вы все запропастились?!»

Грязное одеяло все ниже, ниже… Вором лезет под навес. Но, вместо того чтобы накрыть с головой, забивая дух сена, оно выгибается, словно от резкого удара кулаком (это я ударил? нет, правда – я?!), и с треском рвется! Черный бархат озарен мерцанием звезд, дышит запредельной прохладой. Я вскакиваю! Иду! Спешу в знобящую даль, обитель покоя, где нет проклятья духоты, и влажной испарины, и безумного бреда… ожидания, страха, радости, предвкушения, разочарования!..

И вдруг понимаю: там нет *ничего*!

Но разве мне дано: понимать? И разве я хочу – туда?!

Беспомощно оглядываюсь. Вокруг давешнее одеяло. Свернулось туманом обочины, легло под ноги смутной дорогой. Я не один на этой дороге. Вереница теней бредет следом; еще шаг, другой – и, обернувшись, я смогу разглядеть их лица: провалы глаз, бледность щек… Не сметь! Оглохни, ослепни! Есть встречи – не для живых. Не для людей.

А я? Кто – я?

Одиссей, сын Лаэрта – кто?!

На миг удается увидеть себя со стороны. Это кажется, или я на самом деле стал выше ростом? Стройнее? В руках у меня драгоценный лук: отчего он увит змеями? Змеи шипят, извиваются, но они добры, эти милые твари, они всего лишь хотят помочь господину: напоить ядом его не знающие промаха стрелы…

– А-а-а!..

…резко сажусь. Тень качается передо мной во мраке ночи. Остаток кошмара?

– Старик, ты?!

Он не отвечает. Усаживается рядом, на расстоянии вытянутой руки, смотрит с тайной грустью. Даже не пытается заглянуть в глаза – просто смотрит, изучает взглядом. Словно вдруг увидел впервые.

– Я спал, Старик? Ты не знаешь, Сова не приходила? Она ушла навсегда?! Впрочем, ты ведь все равно не ответишь. Ты никогда не отвечаешь. Ты молчишь.

– Молчу, – приходит внезапный ответ. – Ты изменился. Перестал задавать вопросы. Вот я и молчу. Знаешь, я ведь никогда не навязывался.

– Нет, ты просто ходишь следом, – пытаюсь поддеть его. – Кто говорил, что ответы – убийцы вопросов? Тебя спрашивай, не спрашивай…

– Я говорил про ответы, а не про вопросы, – грусть в глазах Старика тает ледышкой на солнцепеке. Он хитро щурится, будто собираясь подмигнуть. Нет, раздумал. – Спрашивать надо обязательно, Сердящий Богов. Даже если убежден, что ответа не получишь; в особенности когда убежден. Спрашивай! Задавай вопросы мне, задавай их самому себе, первому встречному… Хороший вопрос, он как старое вино: задал – а потом на языке катаешь, на вкус пробуешь. Удивляешься: почему раньше горчинки не замечал? Аромата? Распробуешь всерьез – и тогда ответ покажется тебе пустяком, дешевой безделушкой… Здесь иная беда: перестал ты спрашивать. Может быть, ты уже знаешь все на свете?

Лежу я, как дурак, пялюсь на него, все козы-мысли в голове разбежались. Вроде бы пастух явился, кнутом щелкнул. Хочу спросить что-нибудь мудрое (давно Старика таким разговорчивым не помню, самое время…) – а на ум, как назло, ничего не приходит. Про ерунду ведь спрашивать, лишь бы спросить – стыдно. В голове пусто стало и еще: спокойно.

– Спасибо, Старик, – само вырвалось.

А он улыбается в ответ. Словно я спросил, а он ответил.

Дальше не помню. Заснул. Снилась жена: варенье[12] варила. Любимое мое, из кизила. Я с сыном шалаш ольховый строил, все ждал, пока пенка в котелке подойдет. Люблю я их: и пенку – сиреневую, рыхлую! – и жену, и сына. Смешно? Да, смешно. Ну и катитесь с вашими кислыми рожами куда подальше! А я пенку есть стану. Сладкую. Перемажусь по уши, еще смешней выйдет.

* * *

После дорога была – чисто тебе вырванные годы. Скучища. Облака в небе: клочьями. Деревья от ветра: растрепы. Даже утесы истмийские, знаменитые – будто вчера их обтесали, и то на скорую руку. Нарочно для нас. На закате всякий раз полнеба кровью заливало. Знамение? Так ведь Итака моя, родимая, – на закате, западней некуда…

Еще дважды видели, как народ Амнистии справляет. Оказалось, празднества эти: на две недели кувырком! Как раз к последнему дню в Микены прибудем.

Оставшиеся ночи спал я, как убитый. Сова не пришла; и дочки хозяйские постеснялись. И никто не приходил. Только проснусь перед рассветом – а рядом Старик сидит. Ждет, что я его спрашивать начну. Или не ждет. Просто зарей любуется. Поди пойми! А я у него до самых Микен так ничего и не спросил. Или все-таки спросил? Еще тогда, в первую ночь? На сеновале?!

[12] При варке варенья вместо сахара использовался старый мед.

Строфа-II
Кронов котел и внучка Возмездия

Похоже, в златообильных Микенах забыли напрочь, что закон гостеприимства освящен Зевсом-Кротким. Такое бывает, и чаще всего именно от обилия злата. Ворота оказались заперты столь надежно, будто с минуты на минуту ожидался приступ. На требовательный стук никто не отозвался. Хор изголодавшихся свинопасов под чутким руководством хорега-глашатая тоже канул в Лету микенского безразличия. Две львицы с барельефа косились, не пряча издевки: кто вас ждал? Кто вам рад?!

Выходило, что никто.

Наконец угловая башенка разродилась заспанным бурчанием:

– И кого это кентавры несут в такую рань?!

Добрые люди – микенцы. Спросили. А могли ведь и дротиком…

– Открывай, соня! – надсаживаясь, рявкнул снизу рыжий басилей. – Я Одиссей, сын Лаэрта, а со мной – мои люди. Имею срочное поручение к ванактиссе Клитемнестре от ее мужа, богоравного ванакта Агамемнона!

– Молоденек ты, крикун, для сына Лаэрта, – с сомнением протянула другая, южная башенка. – И брехать горазд: наш ванакт далече!.. Наш ванакт Трою берет-берет, никак не доберет…

– В Авлиде ваш ванакт, тупицы! Отворяйте! Или боитесь, что мы сейчас возьмем ваши Микены приступом?! Вместо Трои?!

Разговаривать с задранной головой, еле сдерживая раздражение, было унизительно. Давила мощь микенских стен, равнодушная, слепая мощь, пред которой чувствуешь себя козявкой. Казалось, что с тобой на самом деле разговаривают не люди, а башни, кладка исполинских плит, весь город – разбуженное на заре чудовище! – и меньше всего хотелось унижаться дальше: показывать именной перстень, требовать, настаивать. Хотелось другого: встать вровень с каменным драконом, от земли к небу, потянуться за верным луком, дать прозвенеть тетиве…

– У нас, горлопан, боялки отсохли! Эй, Полифем[13], ты боишься?

– Не-а… давай спать, что ли?

Но тут вмешался лично Талфибий. Не пожалел ораторского искусства. Вопль глашатая громыхнул над тишиной дремотного города так, что Одиссей невольно вжал голову в плечи. Уж не сам ли Дий-Громовержец вещает чужими устами?! Не может быть у человека такой глотки, хоть наизнанку вывернись! Еще по дороге, на Амнистиях этих, заметил…

– Что, Полифем, и меня не признал?! Плетей возжаждали, хлебоеды?!

– Б-е-е-е… б-бе-е-е… – заблеяла в ответ первая башня, удушливо перхая. – Б-бегу, б-богоравные!..

Судя по доносившимся из-за стен звукам, кто-то уже несся сломя голову вниз, по щербатым ступеням лестницы. Бранил «слеподырых недотеп», возился с засовом: жалуясь, скрипели медные петли.

– Н-не ждали! Н-не гадали!.. Радость, радость-то какая!..

Створки ворот разъехались в стороны, открывая кучку ошалелых стражей во главе с перепуганным десятником Полифемом. Шлем последнего от запоздалого рвения съехал набок, заставляя хозяина взирать на мир одним глазом, наподобие циклопа. Миг, и десятник бухнулся на колени:

---

[13] **Полифем** – многоговорящий, болтун (*греч.*).

– Милости, богоравные! Не извольте гневаться! А тебе, славный Талфибий, покровитель ахейских глашатаев, мы сегодня же принесем обильные жертвы! Виноваты: туман, помрачение взора…

– Жертвы? – Талфибий внезапно охрип. Налился дурной кровью. – Мне?!

– Вам! Вам обоим! – неправильно понял вопрос десятник. И, преданно моргая зрячим оком, заблажил в смертной тоске:

Я ль позабыл Одиссея, бессмертным подобного мужа.
Столь отличенного в сонме людей и умом, и усердным.
Жертв приношеньем богам, беспредельного неба владыкам?!
Нет!

– Лучше не забудь отправить гонца во дворец, – Одиссей поспешил перебить новоявленного восхвалителя. Густой дух чеснока вперемешку с кислятиной перегара, шибая от многоречивого десятника, был способен отравить любой гимн на свете. – Пусть доложит о нашем прибытии.

– Ну да, ну да, богоравный! Бегу, лечу…

И впрямь: очень хотелось бежать. Лететь. Куда – неважно, лишь бы подальше. Даже мысль о том, что стражники еще не проспались или уже пьяны, не дарила успокоения. А еще молчал ребенок у предела. Готовясь засмеяться – или расплакаться?! Кстати, шумели и торопились зря. Гонец сбегал-вернулся, сказал: велено обождать. Пока богоравная ванактисса Клитемнестра изволят закончить омовение.

* * *

Глухие улочки, высокие заборы. Пыль на листьях олив, любопытные глаза в щелях: блестят слизнями вослед. Огромный водонос на всякий случай пятится в тень, бьет поклоны. Город сам по себе, микенский акрополь на возвышении – сам по себе. Нападди враг, в акрополе можно длительный срок держать осаду, благоразумно отдав прочих горожан на разграбление. Вспоминается услышанный в портовой харчевне спор. Микенец хвастался: «Наши сокровищницы! Наше золото!» А когда критский моряк удивился: «Твое? Ты-то здесь при чем?! У тебя отродясь медяшки ломаной…», микенец возразил с негодованием: «Но я ведь рядом живу! На соседней улице!» Наверное, в чем-то он был прав: родившийся в златообильных Микенах и впрямь не чета рожденному на продуваемой всеми ветрами Итаке. Раньше не замечал, что здесь даже дышится по-другому – с опаской, будто можешь случайно вдохнуть чужого воздуха.

Потом с хозяином за всю жизнь не расплатишься.

Дерзай, ванакт микенский! Твори державу Пелопидов – великую, вселенскую, *кафолическую*! От эфиопов до гипербореев каждому так задышится: с опаской, с оглядкой. Зато: наше золото! наши сокровища! наша гордость! – рядом ведь живем, за углом…

– Одиссей, ты давно был у нас? – Знаменитый бас «покровителя ахейских глашатаев» гудит откровенной растерянностью.

– Перед отбытием в посольство… А в чем дело?

– Глянь направо. Или боги помутили мой разум, или… Видишь храм?

– Конечно, вижу… Постой! Откуда он взялся?! Площадь помню, портик на углу – тоже…

Колесница замедляет ход, проезжая мимо храма. Мрамор коринфских колонн – серый с золотистыми прожилками. Резьба капителей в виде чаш из двойных листьев аканта. Широкие ступени; дверь слегка отворена, и внутри мерцает огонь, безмолвно приглашая войти.

Одиссей обернулся к десятнику, вызвавшемуся сопровождать «долгожданных гостей»:

– Чей это храм?

– О, господин мой! Это храм Крона Уранида! – конский хвост на гребне шлема, изрядно траченый молью, кивает в такт речи десятника, словно свидетель на суде, подтверждая правоту истца. – Весной достроили.

Смотреть на храм приятно. Увенчанное двускатной крышей, стройное здание красиво само по себе, но дело в другом. Глядя на святилище Крона Уранида, которого здесь не было прежде и не могло оказаться сейчас (не было: храма? бога?!), чувствуешь, как тонет, скрывается в глубине души иное смятение. Глухие улочки, высокие заборы, глаза зевак в щелях – всю дорогу, пока ехали во дворец, Одиссей пытался избавиться от дурацкого ощущения чуждости себя и города. Нет, иначе: себя в городе. Микены казались старыми, а рыжий итакиец – молодым. Боги! Чистая правда: город действительно очень стар, а рыжий итакиец действительно очень молод, но…

Такие мысли граничат с безумием.

Значит, это свои, родные мысли?

Спрыгивая на землю и разминая ноги, Одиссей подмигнул глашатаю:

– Заглянем?

…Младший жрец, в серой с золотыми нитями хламиде, встретил у входа. Отделился от колонны, словно был частью здания:

– Благоговейте[14]! Поспешите, уважаемые! Амнистии на исходе, но, хвала Крону, у вас еще есть время…

Фраза прозвучала двусмысленно.

Внутри – сумрак, мешающий толком рассмотреть убранство храма. Отверстие в центре крыши, расположенное над алтарем, света не дает, хотя на дворе день. Задрав голову, Одиссей увидел там пригоршню звезд во тьме. Проморгался: нет, звезды никуда не делись. Наверное, роспись. Возле алтаря ярко горит огонь под жертвенным треножником. Обычная картина. Разве что бронзовый котел, установленный на треножнике, куда больше обычного. Да еще: высокая клепсидра[15] на алтаре, забытая невесть кем и невесть зачем.

Набухает капля за каплей. Впитывает янтарь огня, сумрачную пыль, тишину, серость мрамора, золото прожилок; миг за мигом, мир за миром. Падает из верхней чаши клепсидры в нижнюю.

Как не бывало.

Пламя бросает на стены масленые, жирные отсветы. В их колыхании чудится: смутные фигуры ведут таинственный хоровод, будто тени из царства Гадеса чествуют древнего сына Уранова. Тянет присоединиться, возглавить, повести лихой пляской из прошлого в будущее, не видя, что всего-навсего замыкаешь кольцо.

– Ну что же вы, уважаемые? Кронов котел еще кипит, но скоро покажется дно, и будет поздно!

Бурлит кипяток. От огня пышет жаром, пузыри на воде лопаются со змеиным шипением. Золотое запястье с россыпью топазов, ранее украшавшее руку итакийца, булькнув, уходит на дно котла. Словно кто-то подтолкнул: давай! бросай! Жертвую тебе, Владыка Времени!.. Подскажи лишь, намекни: о чем тебя следует просить?!

Дорогой перстень со среднего пальца Талфибия отправляется следом.

Жертвую…

Интересно: чего просит глашатай? О чем говорит, беззвучно шевеля губами, с Кроном-Временщиком?!

Амнистии на дворе. Скоро, говорят, закончатся.

Скоро будет поздно.

---

[14] **Благоговейте**! – (*греч.* «Эвфемите!»). Обычное возглашение жреца, приглашающего к началу церемонии.

[15] **Клепсидра** – водяные часы.

Воды в котле осталось совсем на донышке. Вот-вот выкипит досуха.

Принята Кроном-владыкой жертва благая от чистого сердца!
Радуйтесь вместе со мною, великое чудо узрев!

Сумрак рождает второго жреца. Вдвоем они торжественно поднимают котел с треножника (голыми руками!); нарочито медленно переворачивают над огнем вверх дном.

Пусто!

Ничто не выпало из котла, не звякнуло, не взметнуло из пламени сноп искр. Лишь эхом выкипевшей воды отдалось шипение с алтаря: большая змея, возникнув на месте странной клепсидры, приподняла плоскую голову. Дрогнула жалом и сползла прочь, в тень. Одиссея пробрал озноб: перед отплытием из Авлиды на алтаре после приношения объявилась точно такая же змея. Забравшись на растущий рядом платан, она опустошила птичье гнездо, сожрав не то девять птенцов, не то десять. Калхант тогда объявил: смысл знамения благоприятен – каждый ахеец убьет десять врагов.

Многие расстроились.

Они хотели убить тысячу.

…Тогда еще прорицатель подошел ко мне, после обрядов.

– Слушай, – спросил. – Может, хоть ты запомнил: сколько на самом деле птенцов было?

Я пожал плечами:

– Поди-разбери… Говорят, десять. Или вовсе дюжина. А что?

– Да ничего. Я вот хожу, думаю: один к десяти или все-таки к дюжине?! Или вообще?.. Как получится…

Странный он человек, Калхант. Из Трои к нам переметнулся, загадками говорит.

Ясновидец, одним словом.

* * *

На ночной террасе, во тьме многозвездной, сидел он, думою тяжкой объятый… Ненавижу змей. Пряная вонь мускуса, гибкие тела. Знающие люди говорят: змеи сухие и шершавые – а я все равно убежден, что липкие и скользкие. В последнее время мне часто снится кошмар, впервые накрывший меня по пути из Авлиды в Микены: смутная дорога, по обочинам столбы из тумана, вереница теней, и я впереди – с золотым луком, обвитым двумя змеями. В любой миг готов сорвать одну из тварей и, ощутив, как она затвердевает в пальцах, послать вперед вместо стрелы.

Во сне мне чудится: это правильно. Это хорошо.

Если сделаю так, дойду до конца.

Но в уши врывается горячий шепот: «Дурак! дурак…» – и я останавливаюсь, ожидая Далеко Разящего. Я уверен: сейчас он подойдет ко мне, курчавый лучник, и мы покинем эту смутную дорогу. Вместе. Я даже готов подарить ему драгоценный лук со змеями, только знаю: он не возьмет.

Это же твой лук, скажет он. Хочешь, выброс.

Здесь я обычно просыпаюсь.

Микены, дворец (Мелодрама[16])

– Ну конечно! Вас прислал, а сам и не подумал явиться! Пропадает, значит, у Пифона на рогах, а теперь за чужие спины прячется, муженек богоравный! Да еще дочку ему подавай! Вот прямо вынь да положь! Под первого встречного…

Клитемнестра бушевала долго и с удовольствием. А я все смотрел на госпожу ванактиссу, не отрываясь, рискуя вызвать гнев на себя. Нет, еще в Спарте ясно было: Тиндареева дочурка – стерва завидная. Удружил спартанский басилей зятю, подложил свинью. На брачное ложе. Но ведь виделись же недавно – когда я в Микены на совет, как в афедрон раненый, примчался. (Хотя почему «как»? Взаправду ранили…) Другой она была! Да, стерва – но хороша, не отнимешь.

А сейчас?

Обрюзгла. Осунулась, с лица спала. А на самом лице – белила, румяна, пудра критская в три слоя… Жаль, морщинки все равно видны, и мешки под глазами набрякли. Шея в складках. Или по мужу истосковалась? Кто их, баб, поймет? – может, это она перед нами разоряется, а по ночам втихомолку слезы льет?

Сесть нам с Талфибием, ясное дело, предложить забыли. Ну что ж, ванактисса в своем праве. Стоим, переминаемся с ноги на ногу.

Внимаем.

– …Герои! Винопийцы псообразные! Это ж как глаза залить надо было: вместо Трои в Мисию угодить! Теперь явились, не запылились. Дочку им! Бочку им!..

Ф-фу, кажется, выдохлась. Умолкла. Искоса поглядывает в серебряное зеркальце: не слишком ли вспотела? Румяна не плывут?! Родинка под левым веком: черная слезинка. Нижняя губа брезгливо оттопырена: все, что вы знаете, я давно забыла!

Интересно, ей-то откуда про Мисию известно?

– Укроти гнев, богоравная! Мы лишь уста твоего царственного мужа, – успокаивающе загудел Талфибий, притворяясь гонгом. – Грех бить по устам, они безвинны. И речь идет не о свадьбе, а о малом обручении. Посему не медли, ибо велено нам доставить юную Ифигению…

Ага, значит, вот как дочку зовут! А то я даже спросить не удосужился.

– …без промедления. Ибо ждет нас под Троей исполнение клятвы. Ныне боги явят милость – прорицателям было знамение…

– Знамение! – презрительно фыркнула Клитемнестра.

Наверняка готовилась разразиться новой обвинительной речью. Но в этот момент из боковой дверцы в мегарон выбежала девчушка лет пяти – гиматий крыльями, нитка бирюзы на шее – и вприпрыжку ринулась прямиком к ванактиссе. Хорошенькая такая малышка: румянец, глазенки живые, радость ключом бьет – не хочешь, а заулыбаешься…

Богоравная осеклась на полуслове.

Дальше все происходило в мертвой тишине. Я едва успевал отлавливать взгляды: подобные стрелам, они перечеркивали пространство зала. Первый взгляд-выстрел госпожи ванактиссы бьет в девочку, но та его попросту не замечает.

…мимо!

Короткий скрип невидимой тетивы – и второй взгляд ударяет в смазливого щеголя из свиты, стоящего ближе других к пустующему трону[17]. Щеголь дергается, словно его действительно навылет пронзила стрела.

---

[16] **Мелодрама** – греч. «действо, сопровождаемое музыкой». Второе значение: действо с повышенной эмоциональностью.

[17] **Трон** (тронос) – кресло хозяина дома: с высокой спинкой и подлокотниками. Супруга правителя не имела права зани-

…есть!

Масленые глазки красавчика испуганно бегают из стороны в сторону. Нашел. Пара молчаливых слуг скучает у очага. Сразу две стрелы поражают мишени. Без промаха. И слуги оказались ушлыми: козьим скачком настигают смешно топочущую по залу девочку. Подхватывают под руки, что-то шепчут в оба уха.

До меня долетают лишь скудные обрывки:

– …занята… важные дяди… покажем собачку!..

Лицо малышки – сплошная обида. Вот-вот разревется. Когда радость внезапно перегорает, становясь грязной золой, трудно придумать боль горячее. Однако заплакать (по крайней мере, на виду у всех) она не успевает. Слуги расторопны, и боковая дверца захлопывается с виноватым лязгом.

Мне кажется, я слышу отдаленный плач. Струйка пота затекает под веко, обжигая. Все. Представление окончено. Тихо склоняюсь к глашатаю:

– Это и есть Ифигения?

Дочери Агамемнона и Клитемнестры должно быть года два. Не больше. Но после знакомства с Не-Вскормленным-Грудью я разучился удивляться. Каков жених, такова невеста!

– Нет. Я ее впервые вижу.

Даже так? Выступаю вперед:

– Мы ждем, богоравная. Надеюсь, твоему царственному супругу не придется самому являться в Микены за дочерью. Ванакт был бы весьма раздосадован, случись ему, бросив войска, спешить сюда…

Задохнулась от возмущения. Побагровела – под белилами видно. Уж больно напоказ возмущается. И щеголь-красавчик на меня волком смотрит. Эй, уважаемые: что у вас за девочки по дворцовому мегарону, как по родному дому, шныряют?! И, главное – *чьи* девочки? Ох, досадовать ванакту, заявись он домой невпопад…

Плохо стреляешь, Одиссей. Мажешь. Девочке-то лет пять-шесть. Может, дочь местного дамата? Нет, даматыши – они скромные, тише воды.

– …волю своего супруга. Ифигения поедет с вами. Ждите – я прикажу слугам собрать ее в дорогу.

Киваю в ответ. Заберем, кого дадут, – и обратно, в Авлиду. Не ждут дома хозяина, не ждут и боятся. Чует сердце: пока мы лже-Трою брали, ванакт микенский Минотавром сделался.

Берегись, троянцы, – забодаю!

* * *

– Богоравная Ифигения, дочь ванакта Агамемнона!

Это не Талфибий объявил. Другой глашатай. Вроде и громко, и торжественно, а все ж – не то. Понятно теперь, отчего Талфибия «покровителем ахейских глашатаев» зовут. Ну что ж, давно пора – ждем тут, ждем…

Обернулся я ко входу.

Увидел.

…Маленькая женщина, вся в голубом, золото волос на плечи льется. И тут меня ударило. Наотмашь. Ослеп я, оглох, умер. Стою мертвый. Беспамятный. Лет триста мне, не меньше. Руки ходуном ходят, поджилки трясутся, в глазах – толченый хрусталь. Не вижу я Елены. Женихи в сто глоток: «А-а-а-ах!» – а у меня дыханье сперло.

мать это кресло даже в отсутствие мужа.

– Радуйся, прекрасная! – издали, сквозь туман, сквозь боль и память. – Нас послал твой отец, ванакт…

Тень маленькой женщины сперва на ступенях лежала, складками – поднялась. За Еленой встала. Женщина маленькая, тень большая. Женщина светлая, тень темная. Хуже моего эфиопа. Старуха. Крылья за спиной кожистые, злые…

Очнулся.

Стою, головой мотаю, будто по темечку приложили.

А она уже рядом совсем. Резь в глазах унялась, попустила. Взглянул. Нет, не Елена, конечно. Но похожа! Гарпии меня раздери, как похожа! Золото кудрей собрано на затылке в сетку с жемчугом… пояс аграфом схвачен, тоже золотым, под цвет волос: бабочка с синей эмалью. У Елены, помню, тоже бабочка…

Стою, моргаю – а губы мои с языком за хозяина отдуваются:

– Радуйся, прекрасная! Я – Одиссей, сын Лаэрта.

– Ой, Одиссейчик! – В ладоши захлопала, брызнула смехом. – А ты правда самый хитренький?!

Нет, не Елена. И улыбка другая. И голос писклявый. Откуда у микенского зазнайки дочка на выданье? Ни в мать, ни в отца… Самому-то Агамемнону двадцать пять сравнялось!

В девять лет отличился?!

– …ой, а я уже все знаю! Все-все! Папочка хочет обручить меня с Лигерончиком! А ты его видел, Лигерончика моего? Какой он? Красивый?

Ага, киваю. Красивый.

* * *

Мамаша богоравная даже проститься с дочкой не вышла. Усадили мы деточку нашу в колесницу, Талфибий править взялся. Это он молодец: я, во-первых, басилей, а во-вторых, колесничий из меня… И в-третьих, очень уж хотелось поболтать с лже-Еленой. А с вожжами в руках только на дороге колдобины выискивать.

Насчет поболтать все в лучшем виде оказалось. То ли дома ей рот затыкали, то ли еще что, но щебетала без умолку. Вопросы градом. Я отвечать, а она до конца не дослушает – и ну опять расспрашивать. Или о своем трещать. Скучать дорогой не пришлось.

Мне эти дни вечностью показались. Пустой такой вечностью, трескучей.

Ах, Лигерончик – великий герой?! Ах, самый сильный? Самый ловкий? Самый-самый?! Поддакиваю: самый-рассамый. Самее некуда. Ой, как это папочка здорово придумал! Ой, хочу замуж, прямо из пеплоса выпрыгиваю! А почему – помолвка? Почему не сразу свадьба? Да-а, гадкие, вы ведь еще когда-а-а из-под Трои вернетесь… А мне сидеть-куковать! А вы меня с собой возьмите! Мы с Лигерончиком среди бурной битвы возьмем да и поженимся! Ой, прелестно! Заодно и мамочку увижу, как Трою возьмете. Вы ее освободите, она мне на свадьбу колечко подарит, и бусики…

Приехали!

– Как это: мамочку? Как это: освободите?! Твоя мать в Микенах царствует, зачем нам ее освобождать?!

А у самого красавчик-щеголь из головы нейдет. Тайный захват власти?

Почему тогда госпожа ванактисса знака не подала?!

– А-а, – беззаботный взмах изящной ручки мигом разрушает мои опасения. – Клитемнестрочка-душенька – это моя *приемная* мамочка. И папочка у меня приемный. Мой настоящий папочка со скалы упал. Его Тезейчиком звали, моего настоящего папочку. Он еще буку рога-

тенького убил, да я забыла, кого именно. Этот рогатенький деток кушал. А мамочка живая, только ее вечно крадут! Отвернешься – раз, и нету!

Наш возница чуть вожжи не выпустил. Раскатилось над дорогой, по-глашатайски:

– Боги! Так ты… дочь Тезея-Афинянина и Елены?!

Выходит, и от него скрывали?

– Ну да! – Девица удивленно захлопала ресницами. – Я думала, Одиссейчик, раз ты самый хитренький, ты все-все на свете знаешь… Мой родной папочка мою родную мамочку тоже похитил. Потом дяденьки-Диоскурики заругались, драться стали… Отобрали мамочку обратно. А позже я родилась.

На миг почудилось: за спиной глупышки Ифигении встает с земли беспощадная черная тень. Простирает крылья: кожистые, злые. Где-то далеко – надрывный детский крик. Кыш, проклятая! Сгинь! Сколько же тебе лет на самом деле, щебетунья-златовласка? Двадцать пять? Тридцать? Когда Тезей похищал Елену?.. Нет, не вспомню. Мы едем по смутной дороге, столбы из тумана дразнятся, маяча вдоль обочин, а за нами на драконьей упряжке, распугивая вереницу теней, замыкая кольцо, мчится из прошлого в настоящее спартанская бойня. Небывшая – желая быть. Лучше поздно, чем никогда.

Ответь мне, внучка Возмездия: может, я просто мнителен?

…мы ехали по смутной дороге…

* * *

Тихонько смеюсь на ночной террасе. Сонмище мужчин, мы были слепы и наивны, подобно юной девице, попавшейся в чаще лихому сатиру. Глядя на растущий живот, она бормочет в ответ на упреки матушки: «Обойдется… сквозняком надуло!.. Съела гнилую смокву – пучит!..»

Бормотали и мы.

«Как это вас угораздило промахнуться мимо Трои?» – спрашивали меня. «Заблудились!» – зло огрызался я, не замечая, не зная и не задумываясь: откуда берется стоголосое эхо? Вскоре многие уверенно пересказывали друг дружке: «Заблудились! Ты понимаешь, брат: бывает…» – а какой-нибудь сволочной аэд уже скрипел стилосом, врезая не царапинами в воск, клеймом на века: «Не зная морского пути в Трою, воины пристали к берегам Мисии и опустошили ее…» – «Как опустошили? – терзали меня докучные. – Союзников?!» – «А кого ж еще, если не союзников? – шутка получалась мало смешной, но на смешную не хватало сил. – Врагов, парни, опустошать хлопотно. И потом, смотришь: ну вылитый троянец! Смотришь, рубишь, грабишь – троянец и троянец! Оглянешься: мисиец!.. А извиняться поздно – опустошил!»

Аэд-невидимка! Ангел мой, ты дописываешь, да?! «…И опустошили ее, приняв за Трою». Кто из нас больше преуспел в помрачении умов? Кто из нас больше виноват: ты или я?! «Я!» – издевательским приговором откликается эхо. Сонмище мужчин, мы были слепы и наивны, как однажды были слепы и наивны Глубокоуважаемые (тогда еще не очень уважаемые и не столь глубоко…), затевая большую войну, путаясь, промахиваясь и опустошая – чтобы в будущем промахи с ошибками нарекли подвигами и едва ли не сотворением мира. Живот рос, приближая время разрешения от тягости; корабль обрастал ракушками, приближая время стоянки на берегу. «Тебе наряд к лицу», – сказал слепой слепцу…

И змеи ползли с алтарей.

Антистрофа-II
Но нас не помчат паруса на Итаку[18]

Человек бежал издалека. Была в его беге какая-то несообразность, но определиться не получалось: бегун поминутно скрывался за утесами, чтобы вскоре вынырнуть и припустить дальше по каменистой тропе.

Скоро встретимся, тогда и разберемся.

По левую руку курились дымки. Сизые, облизывали небо: вдруг просветлеет? Вкусно тянуло жареным луком. Здесь, на южной окраине лагеря, растянутого на многие стадии, обосновались триккийцы, а эти без лука дня не проживут. Утверждают, что от ста болячек. Ладно, пусть их… лишь бы морду в сторону воротили. Доберемся до микенской стоянки, сдадим златовласку отцу нашему Агамемнону с рук на руки – то-то радости! Насмерть небось отчима заговорит, вот и не придется плыть воевать.

Все польза.

Бегун неожиданно вывернулся совсем рядом: из-за приземистой скалы, похожей на черепаху.

– Ой, какой хорошенький! – это златовласка.

– Лигерон! – ахнул Одиссей, признав.

Малыш Лигерон был обнажен, если не считать повязки на чреслах. Да, теперь уж точно не считать, потому что свалилась. А малышу нипочем: подбежал, остановился. Дыхание ровное, размеренное. Пламя кудрей по плечам: даже не вспотел. Словно мгновением раньше выйдя из шатра, с хрустом потянулся – затрещали молодые косточки…

– Дядя Одиссей! Дядя Одиссей – это она?!

Не скрываясь, заржали в двадцать глоток свинопасы. По-мужски, одобряя. Нейметься парню. Вон, даже видно: до чего нейметься. Жениховское дело святое. Дядя Одиссей и тот понимает: святое. Иначе б на привале!.. Ох, этот дядя Одиссей, он у нас рыжей рыжего, жениха женихастей…

– Она, малыш.

– Моя?!

Ну как тут не улыбнуться?

– Твоя, твоя… Ты чего вперед побежал? Женихам положено в нарядах, со свитой…

Не дослушал. Перебил, глядя исподлобья:

– Дядя Одиссей… а ты ее мне привез?!

– Тебе, тебе. Кому ж еще, если не тебе?

Влажный Лигеронов взгляд полыхнул благодарностью. И еще: темным, смоляным облегчением. Лишь сейчас Одиссей ощутил с опозданием: ответь он по-другому, отшутись или уклонись от прямого согласия – малыш бросился бы на них. Как есть, голый, безоружный – против всех.

Быть беде.

Откуда? почему?! – А дитя издалека всхлипывает: быть…

– Взаправду мне? Не Носачу?!

Носачом малыш с самого начала звал Агамемнона. За глаза, а случалось, что и в глаза. На совете, например, с удовольствием вертя в руках жезл, дающий право слова. Микенский ванакт морщился, но прощал. Считал ниже себя гневаться на обиженного умишком. Только

[18] Но нас не помчат паруса на Итаку —В наш век на Итаку везут по этапу…А. Галич

и платил, что всегда именовал малыша Ахиллом, забывая имя «Лигерон» – Не-Вскормленный-Грудью терпеть не мог своего прозвища, мигом закипая.

Сошлись вода с огнем…

– Лигерончик! Миленький мой! – вмешалась Ифигения, спрыгивая наземь трепетной ланью. Ничуть не стесняясь, подошла близко-близко; обожгла вопросом:

– Пошли к тебе, ладно?! В шатер?

Аж жарко всем стало. Дочь Елены Прекрасной и сын Фетиды Глубинной. Вот они, оба: серебряная кровь.

– Стой! Стой, дурак! Куда?!

Вскинул Лигерон златовласку на плечо: моя!
Грянул окрест боевым кличем: моя! никому!
И только пыль взвилась из-под босых ног.
...люди так не бегают. Молнию вслед – отстанет.

А за триккийским лагерем, на подъездах к эонянам – налетели, завертели. Окружили. Свинопасы вокруг колесницы сломя голову кинулись. Встала живая стена, копья наперевес: брось шалить, дуроломы! Пылища столбом, будто толпа Лигеронов разбегалась; копыта, гривы, плащи меховые. Отовсюду: «Кур-р-р!» Ну, раз «Кур-р-р!», раз плащи по жаре, значит, все в порядке.

– Опустите копья! Я кому сказал! Свои!

И рядом, глашатайским праздничком:

– Радуйся, Диомед, сын Тидея!

Куреты-верховые (сотни полторы, не меньше!) смешались. В ушах ковыряются. Назад сдали, вертятся в седлах. Один вместо «назад» – вперед. С седла птицей:

– Где она?!

И едва ли не за грудки норовит.

Слез я с колесницы. Вплотную подошел: как невеста к жениху. Да в шатер проситься раздумал: злой он, Диомед. Неласковый. Как в Микены за девкой ехать, так куретов шиш допросишься. А как из Микен с девкой встречать, так целым войском скачет.

– А пожелать мне радоваться? – спрашиваю.

Он желваки по скулам пустил. Каменные.

– Радуйся, – так врагу скорой тризны желают. – Я спрашиваю: где она?!

Он спрашивает, значит. Хотел я в ответ спросить: ты за что на меня взъелся, синеглазый? Вместо этого другое сложилось:

– Кто – она? Колесница? Вот стоит, целехонька. Хочешь, подарю?

Зря, конечно. Диомед и вовсе взвился:

– Ты… ты!..

– Ну, я, – отвечаю. – Вы тут что, белены объелись? Меня за троянскую стену приняли? Штурмовать охота?! Сперва Лигерончик за невестой нагишом метется, потом ты, Тидид, как ужаленный…

– Он ее забрал? Забрал, да?!

– Ну, забрал. Ты ж его знаешь, оглашенного, – ведь не силой отбивать?

– Силой! Силой! Проклятье! Ах ты, рыжий Любимчик!..

А теперь он – зря. Какой из меня Любимчик? Чей Любимчик?! Сам себе удивляюсь: с чего б обижаться? – нет, обиделся. Словно подменили нас. Были друзья, а сейчас грызться станем. Серебро в крови продавать, барыш делить поровну. И куреты нахохлились в седлах, «Кур-р-р…» хрипят; и свинопасы мои дорогие теснее сбились, хмурятся искоса.

Обошлось. Полоснул он меня глазищами: наискосок. Сплюнул под ноги. Выругался – и обратно в седло. Да не по тропе, а вдоль берега…

Брызнула галька из-под копыт.

Обернулся я к Талфибию. Плечами пожал. Встречают нас, дескать, с любовью и почетом. Еще стадию проедем – Золотые Щиты явятся, гвардейцы Атридовы. Вовсе сандалиями затопчут. Зачем куда-то плыть? Назначим Авлиду Троей, глаза себе повыкалываем, устроим вслепую потешные битвы.

Кто кого? – Все всех.

Глашатай орлиным носом шмыгнул по-детски. Тряхнул вожжами. А я пешочком побрел, от тоски. За эонийским станом и набрел. Точно, Золотые Щиты. Издалека видно. И микенский ванакт во главе, со скипетром. Следом: критские плащи, желтые с черным, колпаки аркадян, льняные хитоны спартанцев… мечи, дротики, шлемы с гребнями. Навстречу гурьбой валят, глотки дерут.

«Веселая свадьба выходит», – подумалось.

Всласть напляшемся.

* * *

…Память ты, моя память! – струись в чашу черным молоком. Здравствуй, прорицатель Калхант, внук Аполлонов. Отворачиваешься? Я очень прошу тебя: поговори со мной… Мне нужна сейчас ясность твоих совиных глаз, осмысленность узкого лица, изрезанного ножом не возраста – ясновидения. Сейчас я понимаю, каково тебе жить: зная заранее. Помнишь, ты первый прыгнул к нам в колесницу. А я следом – пока не затоптали. Остальные даже расспросить толком поленились: украл? жених невесту?! да какой он, к приапу, жених?!

И с воплями двинули к стану мирмидонцев: где шатер Лигеронов?!

Мы оказались в ядре людского кома. Катясь с горы, обрастая новыми крикунами, плыли «оком урагана» – временным затишьем в сердцевине бури. Я дивился тебе, Калхант: обычно спокойный, ты плевался словами, будто хотел оправдаться за прошлое молчание в шатре. Говори, я слушаю – вчера и сегодня, я слушаю. Хотя ванакт запретил тебе посвящать рыжего итакийца в тайну замысла. Наверное, на его месте я бы тоже запретил.

Меньше знаешь – легче едешь.

Авлида, микенский лагерь (Аргумент[19])

На рассвете воины взбунтовались. Сперва горячие афиняне, во всем видящие умаление славы предков, за ними бедные, но гордые саламинцы Аякса-Большого, куреты Заречья, горазды драть глотку по поводу и без; а там пошло полыхать. Зачинщиком мятежа, как ни странно, оказался мой замечательный Эврилох – успев растрепать направо и налево о нашей поездке. «Обручение?! – надрывалась разъяренная толпа у шатра микенского ванакта. – За что кровь проливали?! По домам!» Конечно, большинство осталось у палаток: чесать бока да отсыпаться впрок! Многие вообще из-за удаления не расслышали дерзких призывов. Но даже двух тысяч буянов, в большинстве своем мелких вождей с родичами, оказалось вполне достаточно. Озлобленные неудачей первого похода, в смятении от темных чудес, видя вокруг себя соратников, павших под стенами лже-Трои (рядом же! дротик под ребро!..), чтобы вскоре живехонькими вернуться в Авлиду – для пожара хватило искры.

Вышел к людям Агамемнон – чуть камнями не закидали.

Но, по словам Калханта, случилось дивное: микенец вдруг воздел к небу золотой скипетр, зарницы сорвались с драгоценного металла, и буяны захлебнулись. Грозовая туча?! Нет, просто ветер раздул косматый плащ на плечах Атрида. Леденящий взгляд Медузы?! Нет, просто лик-страшилище с эгиды панциря оскалился в лица мятежников: это тишина? нет, я спрашиваю?!..А вот это уже тишина.

Мертвая.

Ванакт сдвинул брови:

– И это лучшие из лучших?!

Вопрос заметался меж собравшимися. Вопрос и сам толком не знал, к кому обращен, поэтому хватал за полы одежд всех подряд. «Вы слышите? Внемлете? С открытым сердцем?!» – лучшие из лучших стали исподтишка переглядываться, чувствуя, как языки присохли к гортаням, но в сердце тлеет огонек удовольствия: кто лучший, если не мы? Кто?!

Того мы подвесим вверх ногами между небом и землей.

– Скорбь переполняет мое сердце, – продолжил вождь.

Минутой позже толпа ахнула. Восхищенная. Смиренная. Потрясенная величием микенца: помолвка – всего лишь уловка, дабы не смущать семью ванакта раньше времени. Ибо боги испытывают сердца человеков большим испытанием: ради удачи похода Агамемнону велено принести на алтарь жизнь единственной дочери.

– Вот алтарь! – Скипетр размашисто указал на жертвенник, имевшийся в каждом лагере; сверкнул новым пучком молний. – А дочь…

Слеза вовремя блеснула из-под насупленных бровей.

Быть кликам восторга, кипеть страстям, когда б не малыш Лигерон. Прежде стоя в задних рядах, возле опоздавшего к началу бунта «дяди Диомеда», Не-Вскормленный-Грудью просочился сквозь людскую массу, как кипяток – сквозь поздний сугроб.

– Слово! – закричал малыш, от возбуждения растеряв все, что хотел сказать.

– Ты просишь слова? – с отеческой лаской повернулся к нему Агамемнон.

– Слово! Слово ванакта!

И напоследок, уж совсем по-детски:

– Мое!!!

---

[19] **Аргумент** – краткий пересказ содержания (*греч.*).

Как ни странно, большинство поняло гнев малыша. А кое-кто даже разделил святое возмущение: обещал дочь в невесты герою – отдавай! Слово ванакта! Последних поддержал Диомед, бешеный в своей ненависти к человеческим жертвам. Зато многие куреты внезапно пошли наперекор синеглазому: «Пусть режет! Дочку режет, да! Маму режет, да! Жену, да! Своя семья, хочу – режу, да?!» Сторонников малыша было меньше, из числа тайно мечтавших о возвращении домой, но вполне хватило для долгих разбирательств… огнем пылал скипетр, тучей ярился плащ, тесней сжимались кулаки.

И никто не обратил внимания, что Не-Вскормленный-Грудью успел исчезнуть.

* * *

Знать бы еще, почему вдруг вспомнился папа? Словно живой: лысый, плотный. Насмешливый. Не у кормила «Арго», в буре – призраком. Не на борту одного из «вепрей», в Лиловом море – ужасом троянского флота. В саду, у грядки. Весной. «А вот это, Одиссей, такая травка… называется «антропос»[20]. Сама чахлая, тоненькая, а корешок (видишь?!) длинный. Вот корешком и цепляется. Топчут ее, топчут…» И мама рядом, на скамеечке. Плащ штопает.

А Пенелопы нет. Наверное, дома, с маленьким.

* * *

…Муравейник. Огромный муравейник, куда злой шутник ткнул горящей веткой. Недаром говорят, что мирмидонцы[21] – превращенные Зевсом в людей муравьи! Глухие шлемы с прорезями лоснятся, выпячиваются бронзой нащечников-челюстей, увеличивая сходство. Но сейчас здесь далеко не одни мирмидонцы. Решили не дожидаться Трои, Глубокоуважаемые? Муравьи из одного жилища друг с другом не дерутся; зато люди…

Знать бы: почему мне все чаще, когда думаю о других людях, на ум приходят – муравьи?!

Звенят мечи, копья гулко ударяют в щиты, взлетает к равнодушным небесам чей-то отчаянный вопль – чтобы упасть сбитой влет птицей. Колесница останавливается, едва не наехав на труп с разрубленной головой. Мы с Калхантом спешиваемся. Орел-глашатай спрыгнул еще раньше; присоединился к своему господину. Мы на самую малость опередили их. Отсюда, с пригорка, лагерь – как на ладони.

– Жертва! Жертва! – несется снизу.

А в ответ:

– Слово! Слово ванакта!

Похоже, малыша его люди не поддержали… зато поддержали *не его* люди.

Бурлить людскому морю. Лязгать бронзовым челюстям, скалиться клыкам жал копейных. Диким пламенем полыхать на солнце (хотя – какое солнце?! Гелиос за тучи спрятался, лика не кажет…). Травка «антропос» сама себя корчует! Вскипает Кронов котел, сыплются в густой пар драгоценные жизни… Скоро ль выкипим без остатка? Грядет ли амнистия?!

У шатра Лигерона схватка вспыхивает с особенной яростью. Часть муравьев отшатывается, бежит прочь, теряя жуткое единство озверевшей толпы, превращаясь в отдельных испуганных существ. Они только что видели, как сражается он – Не-Вскормленный-Грудью, сын Пелея-Счастливчика и Фетиды Глубинной. Как убивает, играя. Как плоть его расступается под лезвием, чтобы, издеваясь, вновь сомкнуться, не оставив даже шрама. Впрочем, последнее могло ускользнуть от бедняг: малыш сейчас в доспехе. Ясное дело: у всех взрослых дядей пан-

[20] **Антропос** – человек (*греч.*).

[21] **Мирмекс** – муравей (*греч.*).

цири-шлемы, поножи-наручи – а у меня?! То, что морскому оборотню броня лишь в тягость, его не заботит: герой без доспеха, что дом без крыши! А я разве не герой?!

Болтают, ему по просьбе мамочки латы сам Зевс подарил…

Это еще не бойня. Так, преддверие – хотя первая жатва уже собрана торопливыми жнецами. Вон они, поборники нерушимости слова и поборники жертвы во искупление. Вместе, по собственной воле взошли на алтарь. Лежат вповалку там, где застигла их смерть. А сторонники Лигерона перестраиваются в боевой порядок, вперед выдвигают щитоносцев… Ага, это малыш распоряжается. Ничего, вполне толково для трехлетки.

Еще бы: такая игра!.. Дай только время!

Если Крон-Временщик заодно с Глубокоуважаемыми – время будет. А как же иначе! Сколько надо, столько и будет…

Сверху на лагерь валится подоспевшая толпа: Агамемнон со товарищи. Ага, и Диомед здесь, и оба Аякса, и Нестор-хитрюга… Глядеть надо: затопчут! Ф-фу, остановились. Шум, лязг, крики; что орут – не разобрать. Внизу тоже орут. И глохнут, когда над столпотворением – громом Зевесовым, горным обвалом! – призыв:

– Остановись, сын Пелея! Устами глашатая говорит с тобой Атрид Агамемнон, ванакт богоравный. Дочь подвластна воле отца; смертный – воле Олимпа. Смирись, убереги гнев для врагов!

Мгновение над полем висит звенящая тишина. Или это после глашатайского баса у меня в ушах звенит? Однако ответ Лигерона не заставляет себя долго ждать:

– Слово ванакта! Ты обещал, Носач!

И неумолимым итогом:

– Мое!!!

Голос малыша срывается, «пускает петуха» – куда ему до Талфибия! – однако и Лигерона слышно всем.

Что за чудеса?!

Нет, не договорятся. Для малыша это – игра! И война, и обручение с дочкой ванакта. А подлый Носач решил сыграть против правил! Поманил новой игрушкой – обманул. Фигушки ему! Играть – так по-честному! Мое!!! А станет Носач дальше жадничать, малыш с удовольствием поиграет с большими дядями в войну.

Какая ему, ребенку-убийце из пророчества, разница: ахейцы, троянцы?

Вот она, упряжка драконья. Примчалась из-под Спарты; вовремя поспела. Вздыбились драконы над пропастью, глаза бешенством горят, а над ними – над нами! – злые крылья Немезиды. Карающий бич Возмездия. На морском берегу, вдалеке от вожделенной Трои; на продуваемом всеми ветрами клочке родной земли под названием Авлида.

…И женщины вина, а не богов, что сгинут и герои, и вожди…

Пучком стрел я засел в каждом: я во всех, все во мне. Люди-муравьи, люди-драконы, люди-игрушки… Люди, забывшие, что они просто – люди! Ведь это же просто! Так просто! Детский плач рвет небосвод в клочья. Вскипает адское варево в Кроновом (Гадесовом? Ареевом? Моем?!) котле; крышку вот-вот сорвет, и кипяток выплеснется наружу, затопив чашу земли. Даже если я останусь жив – моему **Номосу** не выдержать взрыва. Нет спасительных слов, нет единения моря, песка и неба, любви, безумия и скуки; и предел гремит набатным гонгом, больше похожим на хохот. Он повсюду, отрезая пути в тишину. Некуда бежать, нечем успокоить заходящегося криком ребенка.

Впервые – нечем.

Лишь одно помогает удержаться на грани идущего трещинами Мироздания, удержаться – и удержать его в себе, не дать развалиться окончательно.

Я вернусь.

А раз так, мне должно быть *куда* возвращаться.

Ослепительная белизна вспыхивает внутри котла, и зрение на миг предает меня. Знакомая резь под веками, звон в ушах, детский плач становится нестерпимым.

Нет, не плач – смех!

Все-таки смех!

Но отчего же от этого смеха мне страшнее, чем от недавнего плача? Или я, безумец, заново схожу с ума?

– …Не надо ссориться. Не надо драться. Слышишь, Лигерончик? Слышишь, папочка? Я согласная! Приносите меня в жертву. Вот, я новый пеплос надела, беленький, чистенький – богам понравится! Только сделайте все красиво! Где жрецы? Почему не поют гимны? Да что ж вы на меня так смотрите? Я согласная! Зовите жрецов…

Зрение возвращается неохотно, хозяином на пепелище родного дома. Видно плохо. Потому что – слезы. Вам бы толченого хрусталя в глаза сыпануть: зарыдали бы! Кровавыми слезами… Молчи, глупая! Внучка Возмездия, молчи! Ты сама не понимаешь, что говоришь! Боги, неужели она всерьез? Неужели взбалмошная дура вот так, с улыбкой, готова уйти в царство теней ради… ради чего? Чтобы мы сейчас не перерезали друг друга?! Чтобы доплыли до Трои – резать других?! Не верю! Она просто не понимает…

Поздно. Драконы увидели возницу! Как тогда, в Спарте – Елену.

– Назад! Мое!!! – безумствует Не-Вскормленный-Грудью.

Шутники бросили в муравейник большеглазую стрекозу. Э-гей, мураши, что делать будем? Добыча, говорите? А *чья* добыча?.. Ведь вы не усатые твари, вы – герои богоравные! То-то же, давайте, деритесь!

– Замолчи! – К малышу подлетает воин в иссеченном доспехе; кажется, из недавних сторонников Лигерона. – Она сама! В жертву!..

– Мое!!!

Копье пробило воина насквозь; удар отшвырнул несчастного прямо на лагерный алтарь, мгновенно окрасив камень свежей кровью.

– …Ну и зря, Лигерончик. Ты, наверное, не понял, да? Это меня надо в жертву, а не его!.. Вот, смотри, какой пеплос! Нравится?..

О боги, заберите отсюда эту дурищу! Куда угодно – в Киммерию, в Гиперборею, на край света, к берегам седого Океана…

И сердце зашлось восторгом: вот оно! Есть выход! Есть дорога в тишину. Есть способ угомонить истерику ребенка там, у предела, оборвать дикий смех, раздирающий мне уши хуже любого плача! Нам нужно чудо. Нам всем необходимо чудо! Ведь сейчас чудеса стали обыденностью, мы видим их по сто раз на дню, забывая изумляться; ну пожалуйста! – маленькое, крошечное, пустяковое чудо: пусть Ифигения сгинет отсюда на веки вечные!..

Просьба? Приказ?!

Шепот? Внутри или вовне?!

Какая разница, если я кричу, кричу во всю глотку – и меня слышат! меня слушают! мне верят! сотни душ подхватывают, делая своим, выстраданным:

– Сгинь! исчезни! На край света! В Гиперборею!.. К эфиопам! В Киммерию!..

Раскрылись в беззвучном вопле: микенский ванакт, тайком проклиная свою затею, побратимы-Аяксы, машет пухлыми ручками добряк-Паламед, вечно притворяющийся стариком Нестор забыл о «кашле» и слабом горле, вспухли жилы на лбу Диомеда…

И **Номос** раскрылся!

Впервые я увидел его целиком, со стороны – может быть, так видят высоко парящие птицы или Глубокоуважаемые из заоблачных высей эфира. Я видел воды древнего Океана, омывающего края земной чаши, – и там, за этими водами, не было ничего! Я видел причудливо изрезанные берега Большой Земли, опухоль Пелопоннеса, зеленое пятнышко родной Итаки, троянский берег, где ждал меня самый шустрый пергамский копейщик, – и дальше, дальше: восток киммерийских степей, блаженные края эфиопов и гиперборейцев, Край Заката, где начинается царство мертвой жизни…

Одиссей, сын Лаэрта – нас стало двое.

Всего лишь двое.

Один рыжий басилей вместе с остальными, разинув рот, смотрел, как вокруг девушки в ослепительно-белом пеплосе сгущается темное облако; как, заключив в себя внучку Немезиды, морок взмывает ввысь, к затянутому тучами куполу небес, и стремительно уносится на восток.

А другой рыжий басилей тем временем наблюдал из горних высей, как растерянно улыбающаяся Ифигения несется через простор **Номоса**, перечеркивая его невиданной стрелой – и, лишь самую малость не дотянув до пределов Океана, валится буквально на головы каким-то людям, собравшимся у жертвенника в далекой Киммерии!

Нас было двое – стал один.

Авлида, лагерь мирмидонцев

(Хор)

– Боги! Великие боги! Ее забрала Артемида!
– Афина!
– Зевс-Громовержец, отец благой, внемли с высот эфира…
– Лань! Лань на алтаре!
– Медведица!
– Жертва принята!!!
– Знамение!
И, итогом корифея:
– Вперед, на Трою!..

* * *

Может, кому-то и довелось лицезреть лань Артемиды на обагренном кровью жертвеннике, с которого уже успели стащить убитого малышом воина. Лань, медведицу, светлое копье Афины Паллады или одобрительный кивок Громовержца…

Мне же открылось другое.

Большая, аспидно-черная змея с шипением сползла с алтаря. Оглянулась на меня, дрожа раздвоенным жалом, и разом втянулась в какую-то щель. Обернувшись, я встретился взглядом с Калхантом. Желтые искры на сером фоне. Золото в грязи; волнение на дне бесстрастности. Долго, очень долго мы молча смотрели в глаза друг другу; потом едва заметно кивнули. Нам явилось одно и то же; жаль, я не прорицатель.

Я даже не герой.

Эпод
Итака
Западный склон горы Этос; дворцовая терраса (Сфрагида[22])

…Истекаю памятью.

Пурпур с серебром.

Раны заживают быстро. Чистые раны вообще заживают быстро: стягиваются края, унимается кровотечение, прошедшее давно приникает к прошедшему недавно, бывшее со мной – к услышанному между делом… Тени жалобно скулят, прячась по углам. Они не хотят пить. Они не хотят вспоминать. Встретить бы того шутника, кто придумал для них (для нас?!) эту вечную, неутолимую жажду! – уж он бы у меня напился вдосталь…

Только одна тень всегда рядом.

Мой Старик.

Знаешь, вечный спутник, до рассвета мне надо успеть вернуться. Иначе утром я выйду к ним: к утомленному годами отцу, жене со взрослым сыном, к моим долготерпеливым соотечественникам – я выйду, они увидят меня такого, какой я есть, и возвращение навсегда превратится в ложь.

Ложь под названием: «Храм Одиссея Возвращающегося».

Ветер ловит светляков в кронах тополей. Взвизгивает, порезавшись острым краем листа; дует на рану и снова бросается в погоню. Зеленая звезда, берегись – поймает. В бухте пенится вода, курчавясь от удовольствия. В Гроте Наяд летают праздничные кольца, танцуя над призраками нагих дев. Ожидая любящей стрелы – насквозь. Не лги, мой Старик, я же вижу: ты счастлив. Ты знаешь что-то, чего я еще не знаю.

Всему свой срок.

Мне еще только плыть под Трою… мне еще…

* * *

Из Авлиды в числе первых эскадр отбыло чуть больше половины войск. Под командованием мрачного Диомеда, хотя публично лавагетом был провозглашен малыш Лигерон. Он был счастлив. Каверзный Носач решил загладить вину; взамен пропавшей игрушки дал другую. Это по правилам. Вот: скипетр лавагета, и приветственные клики воинов, и венок на кудрявой голове.

Все честно, играем дальше.

Сам микенский ванакт задержался на неделю. Собрать последние силы, дождаться тех, кого время попутало не в пример остальным (ошалелые симейцы с гиртонянами вернулись в Авлиду лишь назавтра после мятежа!).

– Дядя Одиссей, я теперь самый главный? – спросил меня малыш, когда я уже готов был велеть поднимать якоря.

Он нахмурил лоб, став чудовищно похожим на рыжую девицу, каким я видел его на пляже Скироса; и честно поправился:

---

[22] **Сфрагида** – часть кифаредического нома, где автор (исполнитель) вместе с основной мыслью-рефреном обязательно называет свое имя.

– Ну, почти самый? Да?

– Да.

Лигерон просиял. Ударил меня по плечу от избытка чувств; забыв о титуле лавагета, прошелся колесом – мои свинопасы с одобрением цокнули языками. Никто из них не сумел бы повторить подвиг малыша, будучи в полном доспехе.

– Дядя Одиссей, мне надоело играть. Я устал. Я боюсь, что выиграю.

– Не бойся.

– Дядя Одиссей, здесь скучно. Это плохая игра. Можно, я поиграю во что-нибудь другое?

– Поиграй в царя мертвецов…

Погода была изумительная. Добрый ветер, чистое море и никаких знамений-видений. Любой из гребцов то и дело задирал голову, вглядывался и многозначительно хмыкал. Тревоги с несчастьями остались позади, впереди ждали троянские сокровища, вечная слава и заветная тысяча убитых врагов. Даже мне передалось общее возбуждение. Я радовался, когда мы вовремя миновали Скирос, когда в свой срок по левому борту возникли утесы Лемноса – в сизой, голубиной дымке, на рубеже Фракийского моря; просто и тихо я радовался, не сталкиваясь с буйным «Арго», не видя полета гарпий и трагической смерти Тезея-Афинянина, опрокинутой из вчера в сегодня.

Мой Старик, тогда ты был хмур, сидя на кормовой полупалубе, а я радовался. Сейчас ты радуешься, а я хмурюсь. Мы оба узнали вечную истину. Сунули ее за щеку, словно мальчонка – красивый камешек, подобранный на берегу. Надо уметь радоваться просто так, не заглядывая поминутно вперед и не оборачиваясь через плечо. Иначе в чашу чистого вина щедро сыплется песок предчувствий и глина надежд. Горечь и несбыточность вперемешку. Хлебнешь – зайдешься кашлем. Лучше сначала выпить вино, а глину с песком насыпать потом, в опустевшую чашу.

Ведь это же очень просто?

Первая стычка произошла на малом островке Тенедосе, у самых берегов Троады. Скорее всего, сторожевая застава не успела удрать домой с вестью о нашем приближении. Или не захотела удирать, ибо при виде ахейских парусов у них взыграло сердце. Со скал градом посыпались камни и дротики, пришлось высаживаться – не оставлять же за спиной эту заразу? Позже сказали: тенедосцами командовал родной сын Аполлона. Скорее всего, так оно и было, потому что Не-Вскормленный-Грудью безошибочно отыскал предводителя в гуще рукопашной. И, не тратя времени на других защитников острова, всадил меч ему в грудь.

Мне всегда казалось: у малыша чутье на серебро в чужой крови.

Он, помнится, был единственный, кто обрадовался очередной змее. Заплясал, стал смеяться. В ладоши захлопал. А мы все молча глядели на алтарь, еще не остывший от жертвы. Чешуйчатое тело свилось малым критским узлом поверх освященного камня; откуда явилась змея, никто не успел заметить. «Ужалила! ужалила!..» – не вынеся гнета тишины, завопил какой-то жирный олизонец, жутким диссонансом наслоившись на хохот малыша. Позже этот олизонец спрятался в скалах, угрожая пристрелить всякого, кто потащит его на «проклятую войну».

– Люди боятся, – буркнул Диомед, проходя мимо. – Трусливая скотина утверждает, будто у него – лук и стрелы Геракла. Кому охота подставлять задницу под Лернейский яд?

– Никому, – согласился я. – А у него на самом деле Геракловы стрелы?

– Да вроде бы. Перед смертью подарил, что ли?.. За услугу.

– За какую услугу?

– Костер помог разжечь. Погребальный.

Руки чесались выволочь олизонца из укрытия. Но нас ждала Троя. Я спрашивал многих: они ничего не помнили. Высадка на мисийском берегу, который мы приняли за долину Скамандра, начисто выветрилась из памяти большинства. А жаль. Потому что, когда мы подошли к берегам Троады, все случилось именно так, как я предчувствовал.

Как уже было однажды.

…высадка срывалась, под ливнем дротиков, под дождем камней, под ослепительно-синим небом, похожим на чей-то взгляд, только я забыл в суете – чей?.. «Дядя Диомед! – взвилось от эскадры мирмидонцев. – Дядя Диомед! Я! Пусти меня!..», и почти сразу, медным приказом аргосского ванакта: «По вождям! Бейте по вождям!» – кинув через голову перевязь колчана, я ринулся наверх, в «воронье гнездо»…

Змеи на алтарях. Клубятся, плетут сети. Где хвост? Где голова? Не разобрать…

…Я раздавал стрелы легко и празднично, превращая крик в хор, а часть кораблей уже затопила берег, и Протесилай-филакиец первым убил и первым умер, когда копье лавагета Гектора Приамида вонзилось ему в бок, только это не имело значения, ибо малыш Лигерон дорвался наконец до заветной игры…

Кипит вода в Кроновом котле. Варятся щедрые приношения. Где вода? где дары? Не разобрать…

…«Бей по вождям!» – мы били, вознесенные над людьми, и Тевкр Теламонид соперничал со мной в меткости, а мне все казалось: мы стреляем, стоя бок о бок в небесах, хотя мы находились на разных кораблях, и я видел, когда нельзя было видеть, попадал, когда можно было лишь промахнуться, и судорожно пытался понять, зная, что понимать – не для меня…

Вода в котле. Змеи на алтарях.
Мы под троянскими стенами.
Амнистия скоро кончится.

* * *

Есть места, куда страшно возвращаться. Родные, знакомые места – страшно. До жути, до ледяного кома в животе. Но стократ страшней высадки под Троей, прожитой дважды в мелочах, во всех подробностях, – возвращение в лагерь мирмидонцев, за миг до исчезновения девушки в белом пеплосе. Ведь тогда мне казалось, что есть еще один выход: простой, обыденный, лежащий на поверхности – только протяни руку за иным чудом!

Я едва не протянул руку.

Чтобы взять лук.

…Я, Одиссей, сын Лаэрта.

Я вернусь.

Песнь вторая
Я научу вас воевать по-человечески!

Одиссей не странствовал по свету —
Он всю жизнь просидел в окопах.
Шла война, гремели залпы где-то,
Ожидала мужа Пенелопа…

Ф. Кривин

Строфа-I
Общий у смертных Арей…[23]

Дождь смывал людское непотребство.

Дубовые листья шелестели под лаской капель, отдавая впитавшиеся за день крики, стоны и брань. Кроны могучих патриархов вновь становились зелеными, избавясь от суетной пыли, а вода в болотистом Ксанфе как была испокон веку бурой, оправдывая название реки[24], так и осталась – тут уж ни убавить, ни прибавить, хоть алой крови плесни, хоть серебряного ихора. В чащах Идских предгорий блуждало затравленное эхо, слабея с каждым новым отзвуком: память битвы искала место для ночлега. Воронье опасливыми струйками дымилось в небе, коптило облака, круто просоленные испарениями моря и боевыми кличами. Птицы боялись поверить в удачу: слишком много людей внизу. Слишком – и мертвых, и живых. Вон, ходят… собирают друг дружку. Плащи на копья, тела на плащи, ношу на плечи – и неси, пока силы есть! Наверное, сами решили пир на весь мир устроить, а бедным воронам опять мотайся в поисках пропитания!..

Жадная тварь – люди.

Окутанный сумерками, Одиссей брел к ахейскому лагерю. Нога за ногу, никуда не спеша. Со стороны Трои. Если лишний раз не озираться, портя себе желчь, можно даже сказать: домой из гостей. Сытый, слегка пьяный; ужасно хотелось спать. Предлагали колесницу – отказался. Пешком, значит, пройдусь; с ветром в обнимку.

Менелай с Калхантом-пророком выбрали колесницу.

Гнушались бить ноги, а вернее сказать: хмель ударил в головы.

Отличная война. Чудесная война. Замечательная. Если кто до высадки опоздал в полной мере ощутить себя героем от роду-веку – ощутил. Выпятил грудь, расправил плечи: я! богоравный! Время от времени грозит кулаком на восток: взойдет назавтра солнце – испугается. Играет в жилах серебришко наследственного ихора, бренчит-пенится. Кипит пузырями. Правда, троянцы благополучно успели запереться в городе, но это пустяки. Возведенные богами стены неприступны, но это тоже пустяки. Приятно воевать с понимающим врагом. Вот, явились послами, кленовыми ветвями махнули – встретили, как родных. Открыли ворота; не дожидаясь глашатайских воплей, собрались на площади перед храмом Афины-Промыслительницы. Да, конечно, два дня перемирия. Кто спорит?! Да, разумеется, тела погибших всенепре-

[23] Пословица, чей смысл – непостоянство военной удачи.

[24] **Ксанф** – греч. «бурый». Река близ Трои носила два имени: Скамандр (земное, собственно речное название) и Ксанф (божественное имя по речному богу-покровителю).

менно надо предать огненной тризне, а души – успокоить поминками. Убитые прежде всего. Мало ли кого убьют завтра? – мы должны быть уверены в светлом будущем наших теней!

Менелай так расчувствовался, что даже предложил покончить дело миром:

– Верните жену, и я все прощу!

Пока готовилась обильная трапеза, обсудили идею. Всячески одобрили: худой мир лучше доброй ссоры. Но беглую супругу не вернули – Парис, знаете ли, возражает, да и вообще. Понимаешь, дружище: теперь-то какой смысл? Не срывать же такую чудесную, превосходную, архизамечательную войну?! Кое-кто даже сгоряча, от всей хлебосольной души, выдвинул ответное предложение: казнить послов по окончании торжественного пира. На всякий случай, дабы ахейцы уж наверняка никуда не делись. К идее упреждающей казни возвращались не раз: под соловьиные языки, под фазанов в сметане. Смеялись. Тыкали пальцами в весельчака: ишь, удумал! казнили их, брат, уже! а чего вышло?! Одиссей смеялся вместе со всеми. Рядом на скамье ерзало ощущение собственного бессмертия, подливая в чашу: налей-ка, братец, вина мне в кубок, пока мы живы, помянем мертвых…

– Дарю! – и драгоценный кубок сменил владельца: седого на рыжего.

Местные рапсоды драли струны и глотки, воспевая силу Трои. Отдали дань союзникам: ликийцам в волчьих плащах, копейщикам-пеласгам, пеонским лучникам. Не забыли и досточтимых гостей (раз перемирие, значит, покамест – гостей). Помянули мощь Аякса-Большого, неукротимость малыша Лигерона, воинское мастерство Диомеда-аргосца. Одиссеево хитроумие прославлялось в паузах: общим числом – трижды. Кругом сидели люди, чьих братьев, родичей, друзей сегодня днем настигали отравленные стрелы сына Лаэрта. И никто! Ни словечком!.. Ни единым косым взглядом!..

Отличная война. Прекрасная. Душевная.

Лучше не бывает.

* * *

Это сейчас я умный. Пусть даже я заблуждаюсь, и на самом деле сейчас я полный дурак, преисполненный козней различных, – все равно. Вороном в небе, сиренью вечерних облаков я парю над собой: маленькая фигурка бредет от Скейских ворот к бухте, где ждут корабли. Мы разделены и в то же время едины: Одиссей, сын Лаэрта, и Одиссей, сын Лаэрта. Наши ожидания обмануты – война оказалась милейшей подружкой. Совсем не старой, крутобедрой, полногрудой: люби, не хочу. Наши стрелы бьют без промаха. Наш удар неотразим. Наши враги обаятельны и предупредительны.

Мы едва не взяли город с первой попытки.

Проклятое слово «едва» мерзко скрипит на зубах. Я иду домой: корабельная стоянка теперь – мой дом. Я парю в небесах: почему бы и нет? Я вспоминаю; я живу заново. Жду бранного праздника: два дня перемирия – малый срок ожидания. «Славно, славно…» – бормочу себе под нос, начиная задумчиво хромать. Действительно славно. Вокруг славы – хоть лопатой греби.

Вокруг герои собирают героев: каждый – своих.

Чужих подберут другие герои.

«…герои выигрывают битвы, но не войны. Думаете, почему великого Геракла наголову разгромили в Элиде?»

Да, дядя Алким. Я помню.

«…и Геракл отступил; впрочем, как я полагаю, ненадолго, ибо с некоторых пор он все больше человек и все меньше – герой».

Да, дядя Алким, я знаю. Веришь, меня однажды сравнивали с ним! – нет, ты взаправду веришь? или только делаешь вид?!

«…даже если собрать целую армию героев, каждый из них будет сражаться сам по себе. Это не будет настоящая армия; это будет толпа героев-одиночек. Жуткое, если задуматься, и совершенно небоеспособное образование…»

Да, мудрый дамат. Я вижу.

Ты был прав: чтобы участвовать в Троянской войне, тебе вовсе не обязательно размахивать копьем с колесницы. Тебе даже жить для этого не обязательно.

«Вот и славно, мой басилей…»

Троада
Сигейская бухта, Гераклов Вал
(Хоэфория[25])

У Гераклова Вала Одиссей замедлил шаги.

Сборщики тел сюда еще не добрались, предусмотрительно решив начать издалека, от городских стен, но здесь и не было много убитых. Так, первенцы кровавой свадьбы. Предчувствие сдавило сердце косматой лапой; гулко застучало в висках. Хмель выветрился, оставив после себя пустоту; и там, в дышащей холодом бездне, начали роиться трезвые страхи. Смерть без имени – не смерть. Ребенок радуется повести о гибели армий, но заходится в рыданиях над могилой родной бабушки.

Вот смерть.

А вот имя: Протесилай из Филаки.

– Ты чего на меня вылупился, рыжий? Не нравлюсь?!

– Нравишься… Ты мертвый, да?

Филакиец лежал на краю полуобвалившегося рва. Скорчился по-детски; поджал колени к груди. Словно пытаясь удержать последние крупицы живого тепла. Так спят на рассвете, когда одеяло сползло на пол, а от залива тянет рыбьим одиночеством – только спящих на рассвете не перечеркивает обреченность копейного древка. Ближе к насыпи валялся, наполовину втоптанный в песок, знакомый щит: зеленая звезда на фоне ночного неба. Этот щит прикрывал сбоку лотос-кархесий[26] на мачте «Пенелопы»; во время высадки я сорвал его и, плохо соображая, что делаю, швырнул вниз, под ноги бешеному филакийцу. Кажется, я даже что-то кричал, надсаживая горло. Может быть, хотелось помочь Протесилаю: свой собственный щит он впопыхах забыл на корабле. Или думалось обмануть воинское суеверие: первая жертва – тот, кто первым коснется вражеской земли. Пусть же под ногами Протесилая окажется не земля – мой щит!

Обмануть не вышло. Иолай Первый, он и здесь оправдал имя.

Иолай-Копейщик – и здесь.

Пожалуй, мой Старик поступил верно, обогнав меня. Я пошел следом за вечным спутником, чувствуя, как время закручивается хороводом одержимых менад: Троада, Гераклов Вал, вечер, бывший возница Геракла с копьем в боку… Зажмурился на ходу, отсчитывая десяток шагов. Еще с детства загадывал: не споткнусь – значит, все будет хорошо.

Споткнулся.

На седьмом.

Убить гидру, крушить амазонок, спускаться в преисподнюю и подниматься в эфир; быть другом и родичем эпохи, могучей эпохи, превратившейся сперва в костистого старика, в плач на окраине Калидона, а потом в дым костра (р-радуйтесь, сволочи!..) – чтобы лечь из-за проклятой бабы и проклятой клятвы на никому не нужном берегу… «Живи долго, мальчик!» – двойное напутствие. «Буду жить долго», – молча поклялся я, открывая глаза. И споткнулся еще раз, потому что увидел: копье торчит *рядом* с недвижным Протесилаем. Из насыпи.

…не задевая тела.

---

[25] **Хоэфория** – поминальная панихида на могиле умершего.

[26] **Кархесий** – «корзина» (*греч.*); часть корабельного такелажа. Корзина, по форме похожая на чашечку тюльпана или лотоса, расположенная на топе, выше рея. Использовалась для наблюдения, работы с парусами и метания стрел или дротиков.

Ноги превратились в ременные плети. Затаив дыхание, я до рези под веками вглядывался: правда? правда! Кто-то другой уже несся бы слушать сердце, звать подмогу – я медлил, не двигаясь. Живые лежат иначе. Живые стонут. И еще: была в происходящем тайная несообразность, червоточинка, мешавшая действовать вслепую.

Вон, даже Старик ближе не подходит.

Топчется, морщит брови.

– Ты чего на меня вылупился, рыжий? Не нравлюсь?!

Детская тень задергалась на земле. Сперва Одиссей решил, что виновато солнце, моргающее на западе, прежде чем свалиться в седую купель Океана. Но вскоре стало ясно: солнце ни при чем. Тень ребенка пыталась двигаться. Пронзенная дважды – копьем и тенью копья, – она хотела оторваться от недвижного хозяина, прекрасно сознавая всю тщету своего желания. Дети часто поступают так: упрямо, капризно, повторяя обреченную на провал попытку раз за разом…

«…кто первым коснется вражеской земли…»

Это счастье, когда тебе судьбой не дано понимать. Истинное счастье. Ведь тогда ты можешь тихонько засмеяться, подойти и совершить чудовищно глупый поступок. Если хотите, подвиг. Ну скажи на милость, хитроумный Одиссей, зачем тебе понадобилось выдергивать из насыпи копье? Не знаешь?! Правильно делаешь. Просто выдерни и выброс. Без смысла, без раздумий и колебаний.

Отброшенное в сторону копье упало мягко, еле слышно.

…А тень копья осталась. Тень копья, и пронзенная ею тень ребенка, отбрасываемая взрослым мужчиной.

Почти отброшенная; как и копье – прочь.

– Ты мертвый, да?

Вот тогда-то мой Старик подошел, взялся обеими руками – и, откинувшись назад всем мощным телом, выдернул тень из тени.

Копье из мальчишки.

* * *

Память ты, моя память. Лучше бы мне все это приснилось. Странный человек, впервые встреченный в Спарте, ничего не значил для меня. Мать, отец, жена, сын, друзья и случайные попутчики… нет. Не из моей жизни; из другой, где гидры. Я его даже попутчиком затруднюсь назвать: филакиец торил свой путь, давний, скользкий, и на этом пути мне отводилось мало места, как ему – на моем. Иногда кажется: сон, бред… темная греза.

Сон о детской тени и тени копья в руке моего Старика.

Бред о малом кенотафе, который я выстроил тут же, на щите с зеленой звездой вместо фундамента. Сбегал к излучине Скамандра за водой, накопал жирной глины; камешков вокруг и без того навалом…

Темная греза о тризне, когда я отпел убитого Иолая, трижды назвав его по имени, – и на третий раз дитя-тень доползло до рукотворной гробницы. Встало сперва на коленки, затем во весь свой малый рост… исчезло.

Чувствуя себя мокрой тряпкой, я обернулся.

– Ты чего на меня вылупился, рыжий? Не нравлюсь?!

– Нравишься… Ты мертвый, да?

Филакиец уже не лежал. Сидел, потирая левый бок. Насмешливо глядел на меня, только насмешка его была… Фальшивая подделка. Нас, безумцев, не проведешь. А по обе стороны Протесилая, уже безо всякой насмешки, истинной или ложной, смотрели они: мой Старик и тощий бродяга-Ангел.

Вопрос без ответа и ответ без вопроса.

А я вдруг захихикал. Нет, ну смешно ведь: словно в два бронзовых зеркала гляжусь… в два кривых зеркальца… смешно!

– Ты посмейся, – разрешая, сказал Ангел. Почесал хрящеватый нос и кивнул своим мыслям. – Посмейся, а потом иди спать. Ничего не было. Ничего ты не видел. Понял?

– Нет. Не понял.

Ангел резко встал; шагнул ко мне. «Стой! Зачем?!» – толкнулось вслед предостережение воскресшего филакийца, но Ангел остановился сам.

Правая рука его удлинилась.

Змеи с жезла зашлись яростным шипением. А я, дурак дураком, стою на смутной дороге; хихикаю. Нет, ну смешно ведь: змеи! шипят! то с алтаря лезут, то на жезле вьются! Чистый гадюшник! Зачем-то потянулся домой, на Итаку; взял лук. Мне его любимый дедушка подарил. Повертел-повертел, даже тетиву натягивать не стал. Обратно бросил.

«Нарушивший клятву черными водами Стикса бог на год погружается в мертвый сон и на девять лет изгоняется из мира живой жизни. Никто и никогда не слыхал о клятвопреступниках, вернувшихся после отбытия срока наказания…»

– Ничего не было, – с нажимом повторил Ангел, бледнея. – Ничего ты не видел. Понял?

– Нет.

– Почему?

– Я не умею понимать. Извини.

Исчезли змеи, исчез жезл. Синие глаза Ангела мерцали странно; удивленно мерцали они и еще чуть-чуть опасливо. Словно хорек-самец увидел хореныша с ядовитыми клыками. Гордиться бы, да не получается.

– А что ты умеешь?

– Слышать умею. Видеть. Чувствовать и делать.

– Меня слышишь?

– Да.

– Нас видишь?

– Да.

– Что чувствуешь?

– Спать хочу.

– Что собираешься делать?

– Не знаю.

– А когда узнаешь?

Я зевнул во весь рот. Ответил:

– Когда сделаю.

И едва удержался от смеха, глядя, как Ангел в растерянности разводит руками, оборачиваясь к довольному Старику. Потом они ушли – двое. Ангел и филакиец. А тени у филакийца больше не было.

Совсем.

Потом ушли и мы со Стариком.

Спать.

…ответы – убийцы вопросов.

Я молодец. Я их всех перебил.

* * *

Ахейцы обустраивались на берегу.

Основательно, надолго.

Будто приплыли сюда навеки поселиться, а не взять с ходу коварный город – мысль эта, шустрей любого копейщика, ткнулась в печень шипом ядовитого ската. Дядя Алким говорил, бывают такие копья: с шипами вместо наконечника. И исцеления от нанесенных ими ран нет. Кое-где еще чадят погребальные костры. Едкий дым стелется по земле: помните? помните нас?! Нет, не помнят. Живым – живое: скорбь вчерашней тризны уступила место будням войны. Стук топоров, хлопанье полотнищ; от сложенных наспех очагов вкусно тянет бараньей похлебкой. В ответ чмокают голодные лопаты – вокруг лагеря, под веселую брань, копается ров. Пахнет разрытым курганом. Сырость щекочет ноздри. В рыхлых пластах копошатся личинки; перерубленные пополам, дождевые черви с философским спокойствием живут дальше.

– Дурость! – презрительно цыкает сквозь зубы Аякс-Большой. Обнаженный по пояс, играет умопомрачительными мышцами. – Пустая работа! Мы сюда что, окапываться приехали?!

И, по-бычьи раздув ноздри:

– Я герой или крот?!

Верные Аяксовы прихлебатели кидаются воспевать мудрость Большого. Добросовестно, с закатыванием глаз. Ясное дело, герой. Ясное дело, никак не крот. Не мышь, не землеройка. Не червяк дождевой. Лучше бы воспевали силу… ага, и до силы добрались. Сравнивают с Гераклом – не в пользу последнего. Поднатужась, расхваленный вдребезги Аякс рожает идею: по-быстрому укрепить остатки Гераклова Вала. До сих пор сохранился, значит, крепок старик. Проходя мимо, Одиссей предлагает великолепному Аяксу облачиться в доспех его тезки, Аякса-Малого.

– Так лопнет же! – растерянно несется вслед. И много позже, сердитым рыком:

– Копайте, сожри вас Цербер!

Из буковой рощи ползет вереница телег, доверху груженных бревнами для будущего частокола. Насколько помнится, вчера роща казалась заметно гуще. Так через неделю в округе все гамадриады[27] сдохнут! А ведь надо и харчами озаботиться. Запасы подъедают – за ушами трещит! Впрочем, если по справедливости, голова в первую очередь должна болеть у милого друга, Диомеда Тидида. У лошадей и ванактов головы большие, есть чему разболеться. Кто у нас главный, до прибытия микенских кораблей?! – Скажете, горе-лавагет в лице малыша Лигерона?

Глупость скажете: этому лишь бы мечом вдоволь помахать…

В третий раз обходя лагерь, рыжий итакиец с удовольствием отмечает: сказано – сделано. Вон, в самом центре: будущая площадь народных собраний – ее сейчас как раз утрамбовывают. А рядышком: Одиссеев шатер.

Молодцы свинопасы… как и воткнули-то, в теснотище?!

Стан ахейцев блудливой псицей выгнут вдоль побережья. На многие десятки стадий. Хвост свернулся калачиком вокруг южных дюн Сигейской бухты; морда ткнулась в вечно мокрые скалы Ройтейона, на северо-востоке. У псицы как раз течка: устье Скамандра, впадающего в море, рассекает лагерь на две неравные части. В самом интересном месте: ближе к бухте.

[27] **Гамадриады** – древесные нимфы, рождающиеся вместе с деревом и умирающие с его гибелью. Просто дриады – нимфы-покровительницы деревьев; от жизни конкретного дерева их жизнь не зависела.

Здесь вовсю суетятся мирмидонцы, под злобный звон науськанного троянцами комарья. Ищут броды, налаживают через реку дощатую гать для колесниц. Рядом с ними, по обе стороны реки, Одиссей, к собственному удивлению, обнаруживает аргосцев. Почему ставка временного командующего не в центре?! – Мудрит что-то синеглазый Диомед…

Или тылы себе обеспечивает, про запас?

– Наддай! Еще раз!

– Бревна! Бревна волоки!..

– А пошел ты…

Одиссей спешит повернуть обратно, едва сдерживая желание зажать уши ладонями. Или грозно прикрикнуть на человеческий табор: цыц! языки оборву! Странно. Шум и толкотня неизбежны при обустройстве лагеря – откуда раздражение? Налет брезгливости?! В конце концов, люди делом заняты, за что их бранить? Испуганной гадюкой злоба ползет прочь. Оставив мускусный, дрянной осадок.

Между живыми бродят тени убитых, чьи тела еще не успели предать огню. Некоторые, плохо сознавая свою скорбную участь, подсаживаются к очагам. Заглядывают живым в лица, пытаются завести разговор. Созерцание душ вчерашних соратников не вызывает в собственной душе ничего. Совсем ничего. Ни сострадания, ни жалости – разве что легкая, едва уловимая грусть мимоходом коснется плеча, чтобы облачком унестись вдаль. Привык. Если с детства видишь их перед собой – поневоле привыкнешь.

И все-таки… равнодушие пугает.

Пара гулящих покойничков увязывается было следом, но Старик начеку. Одного его сурового взгляда из-под насупленных бровей хватает: отстали. Топчутся на месте. А для верности Старик грозит вслед тенью копья.

На северном фланге рыжий задерживается: проведать своих. А дальше, у Ройтейонских скал, чуть не падает, споткнувшись на ровном месте: отсюда видно стоянку саламинцев Аякса-Большого. Не крота, не землеройки; героя из героев. Видимо, насмешка оказалась кстати: проникнись. Ровные, в ниточку, ряды палаток, ров с валом и частоколом уже готов, дозорные бдят, а прихлебатели вовсю копают малые канавы под корабельными днищами.

Скоро закончат.

– Эй, богоравный! Рыжий, кому кричу – иди к нам обедать!

Зная гостеприимство Большого, Одиссей притворяется глухим. Аякс ведь пока не накормит до отвала и не напоит допьяна – не отпустит. Тратить остаток дня на пирушку? Жалко. До темноты надо успеть оглядеться.

Взобравшись на вал, Одиссей садится на корточки, вольно или невольно подражая Стариковой привычке. Сам не заметил, как пришла она: *скука*. Шелест песчаной осыпи. Взгляд Далеко Разящего – змеиный, обманчиво-небрежный. Так скользит в траве гибкое тело: мимо. Сухость во рту; ледяная бритва вместо рассудка. Рыжий успел слегка подзабыть это состояние, и сейчас скупо улыбается старой знакомой – *скуке*.

Троя желанной красавицей возвышается впереди. Елена с кожистыми крыльями, она горделиво оседлала спины рабов-холмов: пологие спереди, по краям холмы белеют меловыми отвесами. Отсюда, с расстояния в добрых тридцать стадий, возведенные богами стены не кажутся столь уж высокими, а кручи, охраняющие Трою с боков, – столь уж непреодолимыми. Но вблизи это выглядит иначе.

Любой посол всегда чуть-чуть лазутчик.

Хочешь – не хочешь, а брать город придется по-геройски: в лоб. Наступая через гостеприимную западню долины – иначе не подойти. Хорошо было на Итаке штурмовать Семивратные Фивы: отвлекающий маневр, ложный приступ, удар в тыл… Может, и здесь удастся? Пехота двинется обходными тропами; да и куреты на их злющих лошадках… Зато колесницы – никак. Не говоря о том, чтобы тащить через горы осадные лестницы… На юге, за руслом

Скамандра, начинаются лесистые утесы Иды, вплоть до Гаргарской вершины, где в свое время обретался петушок-пастушок Парис.

С севера тоже особо не развернешься: холмы.

Умный город Троя. Как на ладони, а кулак сожмешь – вопьется ядовитой занозой. Вот оно, раздолье для толпы героев! Приманка для серебряного ихора в алой крови. Меч из ножен – и вперед, только вперед, на стены! Сам Зевс меня не остановит!..

– …Герой Капаней из Аргоса так и сделал. Ого-го, и на стенку…

– Ну и как?

– Похоронили героя Капанея…

Да, дядя Алким. Я вижу. Знаешь, это работа для нас – научить героев воевать по-человечески. Спросишь: «Почему?» Не спросишь? И правильно сделаешь. Потому что больше некому. Потому что работа – грязная.

Потому что им все равно, а мне надо вернуться.

Меня ждут.

Антистрофа-I
Есть страшное чудовище, Ахилл…[28]

У одного из костров бродячий аэд вовсю потешал собравшийся народ. Глумился над ротозеями-троянцами, похабничал:

…жены ни одной между тем не найдя,
Приам сокрушался, стеная.
А жены, за стражами спящими бдя,
Бежали в лесок, мокрый после дождя,
Где их уже ждали данаи…

Воины ржали молодыми жеребцами, напрочь позабыв, у кого на самом деле увели жену и из-за чего все они собрались под этими стенами.

Одиссей присел на огрызок бревна. Перед глазами маячила тощая спина Ангела: бугры позвонков выпирали рыбьей хребтиной. Вернулся, никуда не делся. И даже песню новую состряпал – знает, что мужикам после боя по вкусу… Интересно, а где сейчас Протесилай? Даже самому себе рыжий боялся признаться: судьба воскресшего филакийца здесь ни при чем. Если хорошенько попросить (умолить?! пасть в ноги?! назвать прадедом?!) Ангела, то, может быть, удастся переслать весточку *ей*: приходи, пожалуйста… мне плохо без тебя, крепость, сова и олива! – приходи…

Аэд грянул завершающий припев, роскошно обыграв созвучие «Приам-приап». И под восторженные клики удалился, прихватив честно заработанную баранью ляжку. Как ни странно, никто из слушателей не пытался удержать его, требуя песен.

– Эй, Ангел! – Рыжий шагнул следом.

Аэд дернулся, словно от толчка в спину. Медленно повернулся: волчьей повадкой, всем телом. Никогда раньше Одиссей не видел Ангела испуганным. По-настоящему испуганным.

Как сейчас.

– Это ты мне? – неприятным голосом осведомился певец.

Очертания его колыхнулись, взялись туманом по краям… отвердели снова. Смешные дела: никакой бабочки на носу у Ангела нет, а все равно чудится – сидит. На самой переносице. Растопырила цветную слюду крылышек, затопила весь мир половодьем красок. Это как же устрашиться надо, чтобы весь мир в глазах – цветной, яркий, а некий Одиссей, сын Лаэрта, в тех же глазах – наоборот.

Черное с белым.

– Ты видишь рядом еще одного Ангела?

– А ты? Видишь?!

Аэд затравленно огляделся. Несколько человек повернули головы в их сторону. «Давай еще! Про баб!» – Красавчик-афинянин вдруг осекся. Мотнул головой, будто докучливую муху отгонял… снова вперился в Одиссея с певцом…

Когда Ангел кинулся бежать, рыжий не стал его останавливать.

Рядом, опираясь на копье, стоял Старик. Глаза Старика блестели зорко и с необычным для него интересом – как перед этим у самого Одиссея.

---

[28] Есть страшное чудовище, Ахилл, —Жестокое Забвенье. СобираетВсе подвиги в суму седое Время,Чтоб их бросать в прожорливую пасть…В. Шекспир, «Троил и Крессида», монолог Одиссея

…Война для меня – в первую очередь люди. И во вторую – тоже. Не оружие, кони, деревья, башни города: люди. Остальное проходит краем, не привлекая внимания; не задевая души. Война вытаскивает наружу подлинное естество. Благородство или подлость, отвагу или трусость: умножая втрое. Вдесятеро. Естество, когда оно снаружи, дурно пахнет; особенно – подлинное. Да, люди. Наверное, потому сейчас вокруг меня полным-полно теней. Словно Одиссей, сын Лаэрта, в одиночестве стоит под тысячами, мириадами солнц, на смутной дороге. Знай я заранее…

А что толку?

* * *

Утро ворвалось в шатер криками чаек, ленивой, беззлобной руганью соседей по лагерю, отдаленным шумом прибоя. Говорите, конец перемирию?! Ждет поле брани, говорите?! – и нечего галдеть спозаранок: троянцы вон тоже не очень-то спешат за стены.

Десятый сон досматривают.

Если честно, воевать хотелось еще меньше, чем вылезать из-под нагретого за ночь одеяла. Детская греза: нет под одеялом войн-битв, бед-напастей, главное, носа наружу не казать. А уж из шатра соваться… Только где оно, милое детство? Сунулся. И первое, что увидел: добрых три, если не четыре эскадры отчаливают от берега. Последние остатки дремы мигом выдуло из головы: уходят! Кто допустил?!

И сразу, отчаянным ребячьим взвизгом: клятва! Моя клятва!

«…клянусь всем, что мне дорого: не позволить ахейцам уйти из-под стен Трои до конца! До самого конца, каким бы он ни был!..»

К счастью, Эврилох попался мне раньше, чем Диомед, в ставку которого я мчался – не разбирая дороги, полуголый, провожаемый сочувственными взглядами: небось хитроумие в башку треснуло!

– Радуйся, басилей! Ты куда?

Вцепился я в земляка, будто утопающий – в обломок мачты. Не отодрать. Сорванным дыханием, кровью сердца в ответ:

– …суда уходят! Люди уходят!..

– Ну?

– Что «ну»?! Бежим к Диомеду!

– Так это… – а он все моргает и пялится на меня искоса, как Персей на Горгону Медузу. – Их Диомед и отправил.

– Кого «их»?! Куда отправил?!

– Лигерона с мирмидонцами. Гульнуть вдоль побережья, союзничков троянских тряхнуть. Провиантом запасутся – и обратно. Мы-то скоро зубы на полку…

Приятель по детским играм рассказывал не торопясь. С расстановкой, со знанием дела, смакуя каждое слово. Вот кто был рожден воевать под Троей. Вот кому здесь нравилось. Нравились байки о подвигах, блеск меди и бронзы, грубые солдатские шутки. Нравилось удачное начало войны: ведь высадились, несмотря ни на что?! Ну, не взяли город с лету: еще лучше! Повоюем всласть – иначе как он, веселый Эврилох, убьет обещанную тысячу врагов и стяжает себе вечную славу? За один-то день замахаешься столько народу укладывать… А сейчас ему доставляло искреннее удовольствие просвещать своего басилея: ведь он, проворный Эврилох, уже все-все узнать успел – кто отплывает? куда? зачем?! – а друг-басилей, вишь, почивать изволят.

Вот и откроем ему заспанные глазки: не бегай, как угорелый, по лагерю! Сам с ума не сходи и народ не будоражь!

…Спасибо тебе, Эврилох Клисфенид, друг мой. Румяный, шумный жизнелюб, ты пировал на развалинах Трои, ты убил свою тысячу врагов – пусть будет тысяча, ты так этого хотел… Я хотел вернуться, а ты – убить. Ананка-Неотвратимость справедлива, воплощая мечты в жизнь: мы получили, чего желали. Вся Итака будет оплакивать тебя. Наверное, в твоей гибели есть и моя вина: прости, если можешь. Пей вволю кровь моей памяти, друг детства, пока есть время до рассвета…

– Эх, незадача! Я с ними просился, а меня к тебе, за разрешением! А ты спишь! А теперь – поздно!..

Он тараторил без умолку. А внутри меня угасал раскаленный горн вулкана. Еще плевался в небеса облаками пепла, еще шипели, вздымая клубы пара, сползающие в море остатки лавы (я никогда не видел извержения: откуда такая яркость?!) – но буйство огня уже шло на убыль. Ахейцы и не думают возвращаться домой. Просто малыш Лигерон весело отправляется грабить побережье.

Все в порядке.

Моя клятва остается в силе. Я не нарушил ее.

* * *

Отплывали мирмидонцы долго: то ли ветер боковой мешал, то ли на мель сесть боялись. Смотришь из-под руки в сторону Ройтейона – плывут. Вот-вот за мыс завернут, из глаз скроются.

Завернули.

А чуть погодя еще разок в ту сторону взгляд бросишь: снова они за мыс заворачивают! С третьего-четвертого раза шепотки по стану загуляли: знамение! Чудо! Вот только к худу, к добру ли?! Угрюмого, как ночь, Калханта достали вконец. Отмалчивался ясновидец. В конце концов, корабли скрылись за мысом окончательно, и народ вздохнул с неясным облегчением.

Рано вздохнули.

«Тревога! – запели с вала флейты дозорных. – Враг в поле!» И завертелось: рвут глотку глашатаи Диомеда, трубят рога, спешат к переправе через Скамандр колесницы и афинская пехота (уйдя в поход, мирмидонцы оголили почти весь южный фланг). А вот Диомедовых куретов не видать; гетайры тоже скучают. Бережет свое войско аргосец. И Одиссей побережет. Без нас управятся: троянцы не валом валят. Так, походя силу пробуют, а мы уж все пальцы в один кулак! Вон, Аякс Теламонид в поле бушует, не терпится Большому! – пускай отведет широкую душу.

Одиссей издалека видел богатырскую фигуру Аякса. Облаченный в сверкающий золотом доспех, наглухо закрытый щитом-исполином, поднять который не достало бы сил ни у кого, Большой походил на ожившую башню. Страшен, медлительно-неистов. Вдохновленные примером вождя, его бойцы тоже не ударили в грязь лицом. Троянцы дрогнули, попятились, – и тут из-за дальних холмов, с многоголосым воем и гиканьем, выплеснулась полноводная людская река.

Киконы, как потом скажет Калхант. Союзники Трои.

Другого он не скажет, пророк: откуда взялись?! Ведь не было там ни души!..

Дальше стало не до раздумий. Аяксовы саламинцы спешно отступали, сам Большой, воздев утыканный дротиками щит, прикрывал отход – но долго им не продержаться. Зудели флейты, разнося приказы, дружины пилоссцев и спартанцев двузубым копьем выдвигались на

равнину – и, одолевая вал, протягивая руку на Итаку, где в нетерпеливом предчувствии трепетал его лук, Одиссей мельком оглянулся.

В залив входили корабли. Много кораблей. Неужели отъезд Лаэрта-Садовника «в деревню» пошел прахом, и могучий троянский флот все-таки ударил в тыл с моря? В следующий миг над передовой триаконтерой взвились две львицы на голубом: стяг микенского ванакта!

Хвала носатому!

Опустевшая утром стоянка мирмидонцев принимала суда, будто изжаждавшаяся пустыня – дождь. По сходням грохотали сотни пар ног: люди Агамемнона прямо от весел шли в бой.

С воды – в огонь.

– Бей по вождям! – взлетел над полем вечный клич Диомеда.

Значит, путь домой очень прост: надо бить по вождям.

* * *

– …Вы неправильно начинали. Дело не в силе. Дело не в мастерстве. Дело совсем в другом; в малом. Просто надо очень любить этот лук…

Роговой наконечник скользнул в ушко тетивы сам собой.

– …Очень любить эту стрелу…

…О да! Просто надо очень любить этот лук! Плавный, но мощный изгиб, тепло костяных накладок, отдающихся ласке пальцев, упругую силу тетивы, прямое древко стрелы с бронзовым жалом на конце – гладкое, любовно отполированное мастером, созданное, как птица, для полета! Надо всем сердцем любить своего врага, связанного с тобой шелковой нитью полета стрелы: ведь ты даришь ему наиценнейший дар – блаженную эвтаназию, легкую смерть! Враг, друг, любимый мой, ты даже не заметишь…

Они не замечали.

Спотыкались посреди боя. Валились наземь скошенной травой. Запоздало понимали: да, все… Счастливцы, им от рождения было дано: понимать. Один, другой, третий… лица проступали сквозь забрала шлемов: рыжий стрелок ясно видел эти лица – размазанные по бронзе, ставшей вдруг прозрачной. Кривые зеркала: рты распялены криком, мешки под глазами, желваки на скулах. Только глаз почему-то не было. Только глаз. Лицо всплывало из пучины шлема, а вместо взгляда так и оставалось – щель прорезей.

Острое, будто нож в печени, упоение пронизало рыжего. Светлое и губительное, как восход солнца в пустыне. Азарт охотника, который не оставлял места для любви – к луку ли, к стреле, к добыче…

К добыче?!

– Это твой лук. Его даже украсть нельзя – хозяин руку протянет…

– А что еще он может?!

– …А еще он может из хозяина раба сделать.

Рука с луком упала осенним листом. Выскользнула из пальцев, тщетно мечтая о полете, очередная стрела. И сразу, оказавшись ближе других, бородач-кикон в иссеченном панцире обернулся к рыжему – словно в спину его кто толкнул!

Верные свинопасы не оплошали. Брошенное копье отбили двумя щитами; но из орущего, звенящего месива уже выламывались другие, спеша к стрелку, отказавшемуся стрелять.

Одиссей очнулся.

Где-то далеко заливалось безумным смехом дитя его **Номоса**. Запрокидывались к небу края земли, гудя под сандалиями киконов: рыжий видел эту землю-чашу глазами бородача, чью шею навылет пронзила стрела, все-таки дорвавшись до вожделенной цели. Да, он стрелял: без радости, без любви, даже без азарта – на одной *скуке*, ледяной необходимости. Он стрелял, хохотало дитя, и в детском смехе Одиссею слышались отзвуки недавней одержимости убийством. Удержать этот смех в отдалении! не пустить в себя! – откуда-то рыжий знал, что этого делать нельзя, как нельзя было отвечать Ламии-упырихе в давней, почти забытой, едва ли не прошлой жизни. Стоит лишь ответить, впустить – и ты погиб, ты больше не принадлежишь себе, Ламия затопчет тебя ослиной ногой с медным копытом и выпьет всю кровь…

– Кажись, отбились…

Голос у плеча сорвал с глаз багровую пелену. Швырнул обратно в «здесь» и «сейчас» – Одиссей обнаружил, что стоит на чужой колеснице, впившись белыми пальцами в костяную накладку лука. Оба колчана были пусты, а впереди лежала вспаханная нива, выбросив наискось в небо пернатые ростки стрел.

Славные всходы.

– …Вы неправильно начинали. Дело не в силе. Дело не в мастерстве. Дело совсем в другом; в малом. Просто надо очень любить этот лук…

Бывалые свинопасы, косясь на неподвижного басилея, шли трудиться: раздевать убитых.

Собирать урожай.

*** * ***

Осиное гнездо, не лагерь. Но гневный голос Агамемнона слышен издалека: громом над жужжанием. «Порядок наводит», – дернул щекой Одиссей, пересекая площадь народных собраний.

– …За год! за год!! за целый год!!! Один несчастный городишко взять не смогли! Ров они выкопали – сатирам на смех! Вал они насыпали, труженики! Где добыча, я тебя спрашиваю?! Где жена моего брата?! Пока мы… в жестоких боях… все западное побережье… хвала богам – троянский флот как корова языком!..

От сердца малость отлегло. Знаем мы этих богов.

Знаем мы эту корову.

– А вы тут… что вы тут?! Диомед, я не с молокососа Пелида спрошу! Я с тебя, красавца, спрошу! Уже спрашиваю!..

Одиссей обогнул спешно устанавливаемый шатер микенского ванакта. И узрел Агамемнона во всей его красе и гневе. Синеглазый Диомед, грязный, как не знаю кто, торчал столбом напротив старшего Атрида: в двух шагах. Хмурился исподлобья, молчал. Но и взгляда не отводил.

Что еще больше распаляло праведный гнев носатого.

«Какой год? Что он городит?..» – мелькнуло в голове.

…Вру сам себе. Да понял я уже все, понял! Не умею понимать, а понял. Чего там! Быстрей мне шевелиться надо. Быстрей кипеть, быстрей булькать…

Мелькнуло – ушло. Но, видимо, у дураков мысли сходятся: один из соратников Диомеда (все вылетало, как звать: плечистый такой, белокурый!) не сдержался.

Шагнул вперед:

– Хоть ты и вождь вождей, Атрид, да только…

На плечо белокурому тяжко рушится Диомедова рука; разворачивает плечистого лицом к сыну Тидея-Нечестивца. Всего два слова, которых Одиссей не расслышал, и белокурый, гневно пыхтя, отходит. Агамемнон с презрением косится на обоих; делает вид, что ничего не случилось.

Суета ниже достоинства вождя вождей.

Жаль, не всем оказалось так легко заткнуть рот. К примеру, Аяксу-Большому. Вкусившему битвы и потому гордому по самое темечко. Этот на всех ванактов (да хоть и на самого Громовержца! – подумалось невпопад) чихал с присвистом!

– У тебя, дружище, видать, в пути голову напекло, – басит Большой. – Окунись в море, остынь! Попробуй-ка сам за…

Шевеля вывороченными губами, Аякс начинает загибать пальцы:

– …За четыре дня Трою взять! Ты их стены видел, Атрид?! И хватит заливать: в жестоких, понимаешь, боях! Небось островок вшивый по дороге разграбили…

– У меня голову напекло?! – обычно бледное, лицо Агамемнона наливается дурной кровью. – У меня?!!

Кажется, ванакта микенского сейчас хватит удар. Однако пока не хватает. Крепок носатый. Ишь выпрямился:

– Хоть и невместно ванакту Микен препираться с иными, кто ниже и родом, и честью, – все же взгляни, о Аякс меднолобый, на эти суда боевые, с коих сгружают и горы добычи на берег, и пленников толпы сгоняют! Глянь, прикуси свой язык, дерзновенный, не знающий истинной славы!

Вот это да! Вот это заговорил! Отродясь за носатым красноречия не водилось: где и награбил-то, по дороге?! Даже Аякс не полез сразу драться, как следовало ожидать, а подобрал отвисшую челюсть и послушно уставился в предложенном направлении. Трудно сказать по части всего остального, но насчет «гор добычи и толп пленников» ванакт ничуть не преувеличил! Под охраной микенцев на берегу уже сгрудилась не одна сотня испуганных рабов, а свободные от караула воины споро таскали из трюмов какие-то мешки, тюки, сундуки, пифосы…

– Вшивый островок, значит? – прищурился Агамемнон, крайне довольный произведенным впечатлением. – Четыре дня, значит?

И неслыханное дело: Аякс прикусил язык. Жаль, миг «истинной славы» всегда кто-нибудь да испортит: посреди общего замешательства, чесания в затылках и дерганья бород к Агамемнону подбежал один из его гвардейцев. Шепнул на ухо: так, мол, и так.

Старший Атрид слушал, и лицо его снова бледнело изломом мрамора.

– Кажется, я слегка погорячился, – наконец с неохотой произнес вождь вождей, соизволяя вновь заметить бессловесного Диомеда. – Вы тут, смотрю, тоже не совсем… не зря…

Истолковать смысл неожиданного поворота в речах ванакта Одиссей даже не пытался. Не его это дело: истолковывать. Его дело: видеть, откуда прибежал ретивый гвардеец, и тихонько уйти с площади…

* * *

Со стороны Идских предгорий идут люди.

Много людей.

Без оружия, без доспехов; зато обремененные тяжелой поклажей. Пленные. Следом, мыча, блея и взмекивая, пылят нескончаемые отары овец, стада коз и коров; круторогие быки – по бокам. Все это изобилие медленно, но верно приближается к ахейскому стану в сопровождении бдительной стражи. Сомнений нет: возвращаются мирмидонцы, долго и нудно отплывавшие с утра!

Рыжий прибавляет шагу. Вокруг – родина.

Вокруг – безумие.

Ближе, еще ближе. Порыв ветра относит в сторону облако пыли, поднятой множеством ног, и вот перед изумленным Одиссеем предстают усталые, закаленные в сражениях ветераны. Победа и добыча сопутствуют героям; на лицах мимо воли проступают улыбки.

– Радуйтесь, славные воины!

– Радуйся и ты, – с достоинством отвечает вислоусый игумен[29]. Говорить ему трудно: мешает свежий шрам на щеке.

– Долго добирались?

Вопрос родился сам. Из плеска волн далекого моря любви, из сухого шелеста песка скуки, из чуть слышного детского… смеха? плача? – не разобрать.

– Да с неделю тащимся. Обоз не котомка, за плечо не кинешь!

– Лигерон послал?

– Кто ж еще… Едва первый город с налета взяли – он и скомандуй: возвращайтесь. Мол, наши там без жратвы небось загибаются. Мы и пошли. Будто в спину кто толкал, торопил. Как тут у вас? С голодухи еще не мрете?!

– Живы пока. Вовремя вы…

Одиссей молча идет рядом со счастливыми мирмидонцами.

…Котел.

Огромный медный котел кипит на огне. Вот в него падает ахейский флот: куском парной говядины – на дно, на побережье Троады. Шумовкой снимается пена: уходит в небо дым погребальных костров, бредут прочь тени по смутной дороге. Чужая уверенная рука сыплет в пар и кипенье орду киконов – горсть соли в похлебку. Эй, повар, спохватись: лук забыл! Лук и жизнь, понимаешь, одно! Нашлась и связка ядреных луковиц: подходят к берегу эскадры Агамемнона. А это что за юркая рыбка норовит выпрыгнуть из варева? Суда малыша Лигерона? Вернуть!.. Ага, рыбка успела вцепиться зубами в другого малька – добро, и его туда же: пылит через горы отряд мирмидонцев, спешит, гонит стада, табуны, пленных. Опоздать в котел боится. Кипит, пузырится варево, само Время мясным наваром бурлит, исходит паром, утекает водой меж пальцев – на то и Кронов котел, чтоб временем истекать.

Много ли кипяточку осталось? Пока похлебка досуха не выкипит, пока дно не обнажится?!

* * *

Когда на закате из-за Ройтейона показались новые эскадры, сил удивляться уже ни у кого не осталось. Малыш Лигерон возвращался с добычей, в блеске воинской славы.

Народ вяло потянулся к берегу: глазеть на разгрузку.

И силы нашлись-таки. Не просто удивились. Ахнули взахлеб: с флагмана эскадры сошел бородатый герой в пурпуре и золоте. Багряные крылья плаща, самоцветы в розетках витой диадемы, вспышки перстней: топаз, агат, аметист… Так ребенок хвастается обновкой перед сверстниками и взрослыми.

– Дядя Одиссей!

А хватка у малыша еще крепче стала…

Огненная борода местами бита осторожной сединой. Кожа обветрилась, слегка шелушится. Первые борозды еще плохо заметных, особенно в сумерках, морщин. От уголков глаз разбегаются смешные трещинки… А сами глаза: прежние. Девичьи.

Звезды.

– Дядя Одиссей! Как вы тут? Трою взяли?! Нет?!! Как же это вы…

[29] **Игумен** – «глава ряда», воинское звание, примерно соответствующее пятидесятнику.

Действительно. Как же это мы?

Поставь любого из вождей, не считая Нестора, рядом с малышом – за старшего брата малыш любому сойдет.

– А я и Фивы взял (у них тут тоже Фивы есть!), и этот… как его? – В хрипловатом, взрослом голосе Лигерона звучит неприкрытая гордость. – А вы: частокол, и все? А я Фивы взял… Ты чего такой грустный, дядя Одиссей?! Это даже хорошо, что у вас не вышло: я хотел сам, да все опоздать боялся…

Искренность детской улыбки озарила бородатое лицо:

– Успел!

Этот день тянулся куском мокрой сыромяти.

Не день – вечность.

Строфа-II
Время разбрасывать камни

– Это не война, – сказал Калхант, утирая пот с лица.

– А что это? – спросил рыжий. Снятые с убитого копейщика поножи были впору, но с ремнями следовало повозиться. Распустить, переставить витые пряжки…

– Не знаю. Но это не война.

Прорицатель встал за спиной. С интересом глядел, как Одиссей, ободрав ноготь и выругавшись, ковыряет ножом язычок пряжки. Лучше б птичек разглядывал, болтун. Вон, микенский ванакт который раз его распекает прилюдно: почему не извещает заранее, откуда грянет беда?! Кто у нас пророк, в конце концов?! Меньше всего рыжему сейчас хотелось обсуждать с Калхантом: война, не война, и если нет, то как называется?! В душе бурлило, затихая после боя, новое ощущение. Алое, будто хлещущая из жил кровь; серебряное, словно ихор, хлещущий из жил.

Из одних и тех же жил: твоих.

Еще со вчерашней стычки с меонами рыжий остро чувствовал людское месиво – пузырями в котле. Каждый пузырь – **Номос**. Отдельный, самодостаточный: земля под ногами, небо над головой, отец с матерью, семья, друзья… боги, которым веришь!.. люди, которым веришь… не веришь? – что ж, твое дело, но изменит ли это хоть малую долю в тебе самом?.. Вряд ли. Одиссею мучительно не хватало слов, чтобы облечь чувства в ясный и яркий наряд, но это было именно так.

Котел на огне – кипящий **Космос**.

Пузыри на воде – люди-**Номосы**.

Вспухают (рождение?), мечутся (жизнь?!), сталкиваются со смыслом и без. Два пузыря слиплись в один: земля под ногами, небо над головой – в целое. Лопнули. Ушли жарким паром в никуда; студеной росой упали обратно – крошечной, не сознающей себя частью бывшего целого: друзья, которым веришь, боги, которым веришь… или не веришь. Скоро родиться на свет новому пузырю. Двум. Трем. Многим.

На наш век пузырей хватит.

«А если нет?» – оперся на тень-копье Старик.

– Это не война, – упрямо повторил ясновидец. И наклонился из-за плеча: близко-близко. Сверкнули совиные глаза – желтое на сером. Одиссей задохнулся: там, в глубине, кипел на огне котел-великан, и золотые искры сталкивались друг с дружкой.

– Ты ведь местный? – невпопад спросил рыжий, моргая.

– Да. Был. Пока не сбежал. Теперь я предатель.

– Ну и ладно. Ты вот лучше скажи мне: позавчера – кто был?

– Пафлагонцы.

…Память ты, моя память! Я пересыпаю их песком в горсти – пять дней ожившей сказки. Или шесть?.. Нет, все-таки пять. Самая лучшая в мире сказка: про войну. Не верите? – спросите любого мальчишку. Сказка, басня[30], детская возня в саду («А за меня ручной циклоп!..») – и глупо требовать разумных объяснений: откуда взяться циклопу и почему он ручной? Таковы правила детства: не разум бездействия, а увлечение игры. Мы играли в самую лучшую на свете сказку. В великую войну. Счастливые дети, мы даже перестали пороть дозорных за нерадивость. Убедились: будь ты Аргусом-тысячеглазом, тебе ни за что не отследить явление троян-

[30] Слово «миф» имеет второе прямое значение – «басня».

ских союзников. Все чисто, из-за холмов – ни пылинки, и вдруг: как снег на голову. Какие-нибудь пафлагонцы на запряженных лошаками колесницах или толпа вопящих пращников со стороны Гигейского озера. Умом понимаешь, что это невозможно – хорошо вооруженное подкрепление не собрать за одну ночь, не успеть перебросить на помощь осажденному городу! – но разве дети делят сказку на «возможное» и «невозможное»?

Герои, мы играли взахлеб, ежедневно выигрывая битву за битвой.

Ведь настоящие герои выигрывают битвы, а не войны.

– Крепко дрались. Хорошо, малыш подоспел… опрокинул.

– У нас говорили…

Прорицатель закусил губу. Видно, вспомнил собственное: «Теперь я предатель». И твердо закончил:

– У нас говорили: «Упрямство лошака и упорство пафлагонца – одной породы». Ты прав: малыш подоспел вовремя. Его грудью не корми, дай повоевать…

Злая шутка, пророк. Впрочем, твое дело.

Пряжка наконец поддалась. Скрипнула, двинулась вдоль по ремню. Одиссей вздохнул с облегчением. Славные поножи, дорогие: с железными щитками в виде жутких рож. Очень страшно, если упавшему с земли смотреть.

Если сверху – не так.

– Ты хорошо стреляешь из лука, – сказал Калхант, часто-часто моргая. – Лучше всех. Наверное, лучше Тевкра Теламонида. Кто тебя учил?

Одиссей хотел ответить, но раздумал. Ясновидец, мастер вопросов, меньше всего нуждался в ответе. Просто дал понять: он *видел*, как рыжий бьет из лука, вскочив на чью-нибудь колесницу. Он видел, странноглазый Калхант, а больше – никто. Итакиец уже успел заметить: бьешься копьем – всем видно, рубишься мечом – всем ясно, камни мечешь – тоже…

Берешь в руки лук – отрезало.

Удивляются: стрелял? этот, рыжий? что, правда?!

– Ты хорошо стреляешь, – повторил Калхант. Он сегодня все время повторял: скажет и повторит. Не разговор, а чистое тебе эхо в горах. Будто думает о другом и, едва произнеся, забывает собственные слова. – Ты стреляешь, как дышишь. Как любишь. Кто тебя учил?

И почти сразу, быстрым шепотом:

– Не надо! Молчи… Я вижу. О да, я вижу!..

– Туда смотри, – Одиссей ткнул пальцем наискосок вверх. – Там птички летают. И видь себе, сколько влезет. А мне поножи надо чинить. Мои вчера совсем… а, чтоб тебя! Порезался из-за болтовни твоей дурацкой!..

– Помнишь, ты на меня кинулся? – спросил Калхант, обжигая дыханием затылок. – При первой нашей встрече?

– Да помню, помню… Твоя охрана еще котомку у меня сперла. И сандалии. На медной, между прочим, подошве.

Улыбка примерзла к сухим губам пророка.

Впиталась в каждую трещинку.

– Нет, ты иначе вспомни. Вот я еду, вот ты – невесть откуда, внезапно; потом – драка, и мои солдаты, в синяках, но гордые, удаляются. Ничего не напоминает?

– Ничего. Слушай, дай закончить! Тебе что, больше поговорить не с кем?!

– Не с кем. Ты и сам прекрасно знаешь: не с кем. Сплошные герои.

– А мы с тобой? Не герои?!

– Мы – нет. Я пророк-предатель. Ты – дурак.

Одиссей хотел было обидеться: шумно, напоказ. В ухо дать. Послать к Ехидне. Только – «Дурак! Дурак!..» – отдалось в сказанном Калхантом знакомой насмешкой. Как он только что шептал, ясновидец?

«Не надо! Молчи… Я вижу. О да, я вижу!..»

– Ходил к Патроклу, – продолжил Калхант, словно не замечая творившегося с рыжим. – Думал: он изгнанник, как я… не герой – спутник героя. Думал, поймет.

– Ну и как?

– Никак. Почти понял.

– Как мы почти взяли Трою?

– Ага. Вот и выходит, что народу тьма, а поговорить не с кем. Ты все-таки вспомни, ладно? Вот я еду, вот ты – внезапно…

…Вчера внезапно свалились меоны. Закидали камнями, до подхода основных сил вступили в резню с пилосскими дружинами; потом успели нырнуть в Трою, под защитой башенных лучников. Позавчера – пафлагонцы. Долина вскипела колесницами, чуть позже малыш опомнился: налетел, смял, опрокинул… Остатки пафлагонцев втянулись в город, отдав неистовому оборотню на откуп раненых и отставших.

Перед тем: ликийцы. Волчий вой, кривые ножи… один гад, раненый, укусил меня за ногу: сзади, под коленкой.

Перед ликийцами: варвары-кары.

И всякий раз мы, в синяках, но гордые очередной победой, возвращались в лагерь. Растаскивали добро из чужих котомок, обували сандалии на медной подошве, хорошие сандалии, удобные… и телегами возили бревна из лысеющих рощ – для погребальных костров.

Выигрывая битву за битвой.

Проигрывая войну.

Уходили дымом в лазурь сыновья Геракла, Истребителя Чудовищ. Внуки Персея-Горгоноубийцы и Беллерофонта, победителя Химеры. Племянники Тезея Афинского, потомки аргонавтов. Полубоги, боги на треть, на четверть, на восьмушку, на одну десятую…

Беда, говорят, пахнет дымом.

А победа?

Весь ужас был в другом: мне начинало нравиться так воевать. Быть лучником-невидимкой, пузырем среди пузырей, сильным среди слабых. Заставлять других лопаться и уходить паром в небеса, отчего чувство собственного бессмертия становилось остро-жгучим, вырываясь боевым кличем!.. Я – приношением! – кипел в Кроновом котле, а чужое серебро кипело в моей крови, выжигая алый, бренный рассвет.

Еще чуть-чуть, и я не смогу отказаться.

Пять дней я ни разу не вспоминал о жене. Даже ночью. О сыне. Папа, о тебе я не вспоминал тоже. Мама, прости меня; пожалуйста, брось сердиться. Дядя Алким – память ты, моя память!.. – ты единственный, кто поймет.

Не моя вина. Не моя война.

– Это не война, – сказал Калхант.

И ушел.

Одиссей не стал его останавливать. И догонять не стал.

Зачем, если он прав? – это не война.

* * *

А ночью случился дождь. Слепой. Да знаю, без вас знаю: это он днем слепой. Когда капли и солнце с ясного неба. А ночью? Когда капли – и звезды: влажные, страстные?! Месяц на боку?! – Вот я и говорю: слепой.

Нечего придираться.

Лежу я в шатре. Слепой. Темнотища, ни звезд, ни месяца, один шелест по ткани, только я все равно их вижу: всех. Вместе. И отдельно: зеленую, яркую, над Идой. У меня на Итаке ее сестричка болталась, за утесы падала. Помню. Помню…

Помню, медной вас наковальней!

Вру я, если честно. Забываю. Сжался мой **Номос** в горошину: хоть внутри, хоть снаружи. Было море без берегов, стала вода в котелке. Был целый мир в медном панцире, стал крутой кипяток. Лежит великое войско в Троаде – слепое. При красном солнышке, при желтом месяце. Валяется лепешкой в пыли дорожной, а его (ее?!) с краев подгрызают. Изо дня в день. Кому не лень, да не лень-то много кому. Народу валом: с востока подойдут, с запада, с юга-севера – а лепешка одна. Что бедной-обгрызенной делать? Как спасаться?!

Не иначе, самой зубы отрастить.

Я представил себе эту красоту: ужаснулся. Скачет в пыли чудо-лепешка – грязь броневой коростой налипла, не подступишься, пасть клацает, слюна течет… Люди врассыпную. А лепешка за ними: к-куда?! загрызу!

Вот и лежи, думай: как из толпы героев зубастую лепешку сделать? С чего начать? С кого?!

Лежу.

Думаю.

– …Стой! – снаружи. Задушенно так, чтоб лагерь не всполошить. – Стой, кому говорю! Клеад, держи заразу!

И шипящим всхлипом:

– Моя не зараз! Моя не держи!

– Твоя?! Клеад, веревку!

– Моя к хитромудрыя Диссей! В-ва!.. Не бить моя в ухо!..

Привстал я на локте:

– Что у вас там?!

Троада
Ахейский лагерь, угол площади для народных собраний, Одиссеев шатер
(Стихомифия[31])

– Моя бить больно-больно! За что?!

– Клеад, заткни ему рот!

Плавает огонек: ломтик света в малой лампадке. У входа, скрученный дозорными свинопасами в три погибели, стоит на коленях юркий человечек. Волчья шкура вместо плаща, шлем из грубой кожи, с длинными, ниже плеч, наушниками. От человечка кисло воняет конюшней.

– Говорить будешь тихо. Понял? И только когда тебя спрашивают.

– Да-да-да! Моя тихо-тихо! Моя только-только!

– Кто ты? Убийца? Зачем крадешься ночью?!

– Да-да-да! Моя – добрый убийца! Добрый-добрый!

– Тебя подослали убить меня?

– Нет-нет-нет! Моя – убийца не твой! Чужой!

– Дальше!

– Моя – фракийца-лазутчик! Да-да-да! К хитромудрыя Диссей от лучший друзья хитромудрыя Диссей!

– Дальше!

– Дальше с глаз на глаз… надо-надо с глаз на глаз!

– Клеад?

– Да, мой басилей? Заткнуть поганцу рот?

– Нет. Оставь нас.

– Мой басилей…

– Ты полагаешь, сын Лаэрта нуждается в няньке?

В шатре – двое. Слышно, как недовольный Клеад снаружи распекает стражу: чтоб мышь! – и вообще… Человечек шустро ползет к ложу; замирает на середине пути, вжав затылок в плечи. Сдергивает шлем. Его лицо раскрашено полосами: охра и грязь. Голова брита наголо, лишь густой чуб падает на ухо.

Вонь конюшни становится гуще.

[31] **Стихомифия** – диалог, типичный для построения диалогов античной драмы. Состоит из чередования реплик, занимающих каждая не более одного стиха. Перебивается сценическими ремарками.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.